

1795

Автор:

[Никлас Натт-о-Даг](#)

1795

Никлас Натт-о-Даг

Микель Кардель #3

Мрачный, жестокий, кровавый Стокгольм. Полный несправедливости и абсолютно к ней безразличный. Смерть поджидает здесь на каждом шагу и заберет с собой любого, кому не посчастливилось с ней встретиться.

Но порою смерть может стать спасением. По Городу между мостами бродят заблудшие души, которые не могут обрести покой. Живой мертвец, обрекший сотню судеб на раннюю кончину. Молодой охотник, угнетенный тенью покойного брата. И цель его охоты: загнанный зверь, от злодеяний которого содрогнется весь город.

В холодном Стокгольме одни пытаются искупить грехи, другие – скрыть свои проступки. Все они ищут избавления, но не каждый сумеет его заслужить...

Никлас Натт-о-Даг

1795

The cost of this translation was defrayed by a subsidy from the Swedish Arts Council, gratefully acknowledged.

Published by agreement with Salomonsson Agency.

Перевод со шведского С.В. Штерна

Copyright © Niklas Natt och Dag, 2021

© Штерн С.В., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

* * *

Кому суждено сплести ариаднину нить, что выведет нас из лабиринта тайных страстей?

Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, 1795

Лица, действующие и упоминаемые в романе «1795»

Тихо Сетон – изгнан из ордена эвменидов, бывший рабовладелец в Шведской Вест-Индии; после возвращения – псевдомеценат, создавший образцовый детский дом, дабы скрыть свои преступления. После пожара в детском доме, лишенный средств к существованию и покровительства, вынужден скрываться.

Жан Мишель Кардель, или попросту Микель – бывший артиллерист, списан с флота после Роченсальмского морского сражения, где потерял руку. Устроился на работу пальтом, рядовым полиции нравов. По неосмотрительности стал невольным виновником пожара в детском доме Хорнсбергет, где сгорели близнецы, дети Анны Стины Кнапп. Пытаясь спасти детей, получил тяжелые ожоги, но еще более мучительным для него стало чувство вины.

Сесил Винге – юрист, внештатный сотрудник полиции, образец разумности и рационального мышления. Умер и похоронен.

Эмиль Винге – младший брат Сесила. Вечный студент Упсальского университета, в постоянном протесте против тирании отца, его требований и завышенных ожиданий. Пытался вылечить алкоголем возникшие из детских страхов галлюцинации. Едва не спился, но с помощью Карделя сумел остановиться. Кардель наделяет Эмиля чертами покойного брата, что приводит к тяжелым и даже судьбоносным последствиям.

Элиас – мальчик, сбежавший из детского дома, чтобы найти свою мать.

Анна Стина Кнапп – бывшая узница Прядильного дома, вдова, ныне бездетная. Торговец живым товаром Дюлитц дал ей поручение проникнуть в Прядильный дом, найти осужденную за государственную измену Магдалену Руденшёльд и получить от нее список заговорщиков, примкнувших к Армфельту – фавориту Густава III – и вынашивающих планы свержения регентского режима.

Майя и Карл – близнецы, дети Анны Стины, сгорели в Хорнсбергете, не успев дожить до года.

Эрик Тре Русур – юноша благородного происхождения, обманутый Тихо Сетоном; помещен в Дом призрения в Данвике; впоследствии подвергнут трепанации черепа. Остатками сознания уловил из неосторожно оброненных Карделем слов, кто повинен в гибели его жены, бежал из дома умалишенных и поджег детский приют в Хорнсбергете. Убит Карделем на пожаре.

Лиза-Отшельница – бездомная бродяжка, живущая летом в лесу; помогала Анне Стине при родах и в первые месяцы после. Осенью сбежала, оставив Анну Стину одну с детьми.

Петтер Петтерссон – старший надзиратель в Прядильном доме. Отпустил Анну Стину под залог, оставив у себя письмо Магдалены Руденшёльд.

Исак Райнхольд Блум – секретарь стокгольмского полицейского управления, обладатель скромного поэтического дара. Бывший коллега Сесила Винге; по мере возможностей поддерживает Эмиля Винге.

Дюлитц – беженец из Польши, торговец живым товаром.

Миранда Сетон – жена Тихо Сетона, парализована, прикована к постели. Хочет умереть, но муж насильно поддерживает в ней жизнь. Пытается помочь Эмилю Винге и Микелю Карделю в охоте на Тихо Сетона.

Густав III – Божьей милостью король шведов, йотов и венедов; убит на балу в опере в марте 1792 года.

Густав Адольф Ройтерхольм, по прозвищу Великий визирь – фактически управляет государством. Честолюбив, мстителен, полон решимости уничтожить сам дух густавианства в стране.

Анкарстрём – офицер, убивший Густава III, впоследствии казнен.

Герцог Карл Сёдерманландский – младший брат короля Густава, формально именно он был поставлен править королевством до совершеннолетия принца.

Герцог Фредрик Адольф – самый младший брат покойного короля, не имеющий прав на престол.

Густав Адольф – сын короля Густава, принц-престолонаследник.

Густав Мориц Армфельт – фаворит покойного короля. Бежал из страны после раскрытия заговора против регентства.

Магдалена Руденшёльд – бывшая фрейлина при дворе, любовница Армфельта, активная участница заговора.

Юхан Эрик Эдман – помощник министра юстиции, предан Ройтерхольму. Охотник за густавианцами. Деятелен и беспощаден.

Магнус Ульхольм – полицеймейстер Стокгольма, ранее уличен в хищении так называемой «вдовой кассы».

Эвмениды – тайный орден, объединяющий богатых и влиятельных людей, предающихся разнузданному разврату под маской благотворительности.

Пролог

I

Не сразу истаяло томительное пение скрипок, все еще стояли в ушах неумолимые, как фатум, нисходящие секвенции виолончелей, но теперь и их заглушали колокола. Протяжные стоны представлялись ему длинными, извивающимися щупальцами, шарящими по городу в поисках не кого-то, а именно его, Тихо Сетона. Он втянул голову в плечи. Пройдя несколько предательски тесных переулков, пересек Железную площадь и поспешил к Полхемскому шлюзу. Нога провалилась в выбоину в брусчатке, тут же лопнул кожаный ремешок на башмаке. Пришлось волочить ногу, иначе слетит.

Яррик исчез: потребовал денег за услуги и исчез в первом же проулке. Сетон не удивился – ничего иного и не ждал. Преданность из корысти – отсроченная измена. Теперь он совершенно незащищен: если на его жизнь объявят торги, тут же выстроится очередь покупателей. Лучше расстаться. Глупо испытывать основанную на алчности лояльность. Лояльность из корысти – отсроченная измена.

На воде покачиваются гуси. Их очень много, в неверном свете звезд кажется, что птицы покрывают весь пролив. С каждым порывом ветра вода Меларена заликает шаткий мост. Сетон поскользнулся на мокрых досках, но вовремя ухватился за перила. Продолжают звонить пожарные колокола: три удара – пауза, три удара – пауза; а в шипении просачивающейся сквозь щели воды ему ясно слышится: долги просрочены... заплатиш-ш-шь... кровью заплатиш-ш-шь.

Только кровью.

На том берегу посчастливилось: нашел крытую коляску с дремлющим на козлах кучером. Вспрыгнул на сиденье и опасно выглянул в потрескавшееся, мутное от грязи окошко.

Лошади, ускоряя шаг, двинулись с места.

Опавшие и уже иссохшие лепестки роз у стены при каждом дуновении ветра оживают, начинают медленный танец, но тут же, будто раздумав, вяло опускаются на отмостку. Постучал, назвал имя. Едва дверь отворилась, вырвал из рук оторопевшей служанки подсвечник и рванулся в дом – та еле успела посторониться. Уже в прихожей почувствовал запах – не перебить никакими ароматическими солями. Перед дверью достал было надушенный шелковый платок, хотел прикрыть нос, но передумал и сунул в карман.

Не выказывать ни ненависти, ни отвращения.

Ни ненависти, ни отвращения.

Взялся за прохладную латунную рукоятку, собрался с духом и нажал.

Душный, отвратительный запах придавал царящему в спальне полумраку форму привидения, колеблющегося как дым или туман. Свеча в руке не столько освещала, сколько ослепляла. Поставил подсвечник на столик у стены и постоял у балдахина. Дождался, пока успокоится сердцебиение и вслушался. Судя по дыханию, не спит. Ни протяжного, с храпом, вдоха, ни короткого, с облегчением, выдоха – дыхание спящего ни с чем не спутаешь.

Постарался подавить приступ ненависти – сейчас преимущество на ее стороне. Лежит, как линдурм[1 - Дракон в скандинавской мифологии. – Здесь и далее примеч. пер.] в засаде, и прислушивается. С годами выработала адское терпение. В терпении ему никогда с ней не сравняться.

– Тихо, любимый! Как я и ожидала!

Он вздрогнул. Полный паралич, пролежни... но голос! Куда подевались скрипучие, срывающиеся на визг, нотки? Голос тот же, что и был много лет назад, когда она выходила за него замуж. Ее страдания даже представить трудно, а в голосе наслаждение, будто только что пригубила редкостное вино.

Сетон внезапно вспотел.

– Миранда!

Она звонко рассмеялась. Ему стало совсем страшно – радостный девичий смех.

– О Тихо! У тебя даже голос осип от страха. А ведь говоришь-то с собственной женой, пугаться вроде бы нечего. Ну да, я-то тут при чем? Колокола с вечера звонят. Я послала Густаву узнать, говорит – весь Кунгсхольмен в огне. И тут ты являешься – и в каком виде! Ты же перепуган до полусмерти, по запаху чувствую. Запах ужаса... уж мне-то его не знать. И мокрый весь от пота. Так чего не хватает моему любимцу?

Слова полны яда – не длинный ли язык довел до того, что с ней случилось? Но как она умеет найти самые больные точки... и как говорит! Связно, легко, будто кляп вынули. Тихо Сетон попытался успокоиться: почти удалось, но голос даже ему самому напомнил змеиное шипение.

– Это твоя работа, Миранда?

– Ну что ты, Тихо... Я же пальцем пошевелить не могу. Впрочем, откуда мне знать? От души надеюсь, что и я внесла свою лепту. Сделала что могла – что да, то да.

Она приподняла голову. Звякнул колокольчик в ухе.

– Мне нанесли визит, Тихо. Давно я его ждала. Надо признаться, поначалу мало обнадеживающий. Не те люди, о которых я мечтала. Один огромный, другой хлипкий, как былинка. Этот, здоровый, до того побит жизнью, что и за человека признать трудно. Да еще и однорукий вдобавок. А второй вообще... сразу видно: что-то с ним не так. То, что они затеяли... никаких шансов у них нет, уж это-то я поняла сразу. Кто этим бродягам поверит, даже если принесут в зубах охапку доказательств и признаний? Но что мне понравилось в этом одноруком – в нем кипела такая злоба, что обои на стенах чуть не свернулись. Думаю: что ж он такого узнал о твоих подвигах? Но раз так – почему не попробовать. Я послала их в анатомический театр. Думала, увидит, чем ты занимаешься, и прихлопнет тебя на месте. Запал у него короткий, сразу видно. Шанс, хоть и маленький, все же есть. Но, видно, переоценила его свирепость.

– И все? И ничего больше?

– Ну почему же кое-что рассказала про твои подвиги. Но не про все, Тихо, далеко не про все.

– Почему не про все?

– Совсем перестал соображать от страха. Бедняга... ты же и сам легко поймешь, почему. Не верила, что эта странная пара на что-то способна. Но если они будут продолжать идти по следу, за ними придут и другие. И уж тогда-то я расскажу все. Если ты, конечно, не выполнишь моего главного желания.

Она замолчала.

Тихо Сетон ждал продолжения. Пульс в висках – будто кто-то колотит молотком изнутри, все чаще и чаще.

– Теперь ты меня отпустишь, Тихо. Другого выбора я тебе не оставила. Знаю, что ты сам не любишь такими вещами заниматься, предпочитаешь смотреть, как это делают другие. Нет-нет, не косись по сторонам – Густаву я отпустила. Велела ей бежать. Сказала: как только вступишь – ноги в руки и не оглядывайся. Нынче ночью работать придется самому. В кои-то веки... И пока ты изо всех сил пытаешься спасти свою жалкую жизнь, помни: я победила, Тихо. Последнюю партию выиграла я. Все годы, что я провела в этой постели, все часы, все минуты, секунды – вознаграждены. Стократно! Видеть тебя таким, какой ты сейчас, – может ли быть награда выше? Помнишь, я была невестой? Мне ты казался очень красивым... пока не узнала тебя поближе. Но сейчас-то! Сейчас ты для меня в тысячу раз красивее. Унижен, дрожишь от страха. Так поторопись же, Тихо. Твое убежище уже ни для кого не секрет, дружки ногти грызут от нетерпения. Ты опять проиграешь. Кто же успеет первым? Хочу знать твое мнение. Однорукий громила-пальт? Или его полоумный напарник? Твои собратья по ордену? Кто-то из сильных мира, чьим покровительством ты пользовался? Интересно бы узнать, кто из них приготовил тебе самую свирепую казнь... Если есть Бог, вряд ли Он откажет мне в удовольствии взглянуть хоть краешком глаза... пусть даже из преисподней. Но пусть о тебе заботятся другие. А ты уж сделай одолжение: позаботься обо мне. Сделай то, что должен, пока еще есть время.

Тихо знает: она права. Но как же трудно решиться... так, должно быть, чувствует себя игрок в шахматы: надо обойти столик со всех сторон, чтобы убедиться – да,

на доске стоит мат.

Он начал приближаться мелкими, шаркающими шажками, с трудом отрывая ноги, словно под полом магнит.

Вздрогнул от отвращения – давно не заглядывал за полог. Тяжелая, бесформенная туша под одеялом. Жуткий сладковатый запах разложения наполнил легкие. Сглотнул слюну, чтобы удержать рвоту.

Она хихикнула:

– О мой Тихо... ты похож на школьника у первой в жизни проститутки.

Тихо Сетон вырвал подушку у нее из-под головы, положил на лицо и надавил, но быстро понял, что этого мало. Время в песочных часах застыло, как патока. Он зажмурился и навалился на подушку всем весом, с трудом удерживая равновесие, чтобы не скатиться с ее огромного рыхлого тела. Нелепая карикатура на любовное объятие.

Наконец – все кончено. В ушах долго еще стояли ее хихиканье и нервное позвякивание колокольчика.

Опираясь на стенку, пошел к выходу. Собрал все, что представляло хоть какую-то ценность. Золотые монеты, камни... нет, не все, конечно. Никак не мог вспомнить все тайники – паника вытеснила память. Она, его жена, лежит под своим балдахинном мертвая, мертвее не бывает, но глаза открыты, будто следит за каждым его движением. Даже сквозь стены.

Набил холщовую сумку – вот и все.

Ночь еще и не думала уступать свои права. Так же темно, но что-то изменилось, и это что-то заставило его резко остановиться перед калиткой, будто та была забрана чугунной решеткой. Что-то изменилось... Не что-то, а страх. Страх, который он долго и тщательно загонял вглубь, присутствовал всегда, в какой-то тайной, пока неизвестной науке, камере сердца. Сплюснутый ядовитый червяк в цепях самоуверенности. Но теперь червь сбросил свои оковы, и оказалось – все

еще хуже, чем он предполагал. Страх не только в нем. Страх завладел всем окружающим его пространством.

Тихо Сетон подавил стон и пустился бежать. Как заяц, учуявший гончих псов.

II

Стук – и Дюлитц сразу почуял неладное. Просители обычно чуть не скребли ногтями дверь, будто извиняясь за непрошенный визит. А тут – несколько частых и сильных ударов. Кто-то совершенно уверен, что не придется отвечать за вмятины, оставленные серебряной тростью на дубовой филенке.

Подошел к окну на втором этаже, погасил свечу, слегка отодвинул штору и встал так, чтобы его не было видно с улицы. Время позднее, но в слабом свете уличного фонаря он различил двоих мужчин в надвинутых на лоб широкополых шляпах. Ничего удивительного – его посетители вовсе не стараются придать публичность своим визитам. А чуть подалее, на подъеме к Хитрому переулку, еще двое. Очевидно, им приказано держаться на расстоянии. Воротники подняты – какая-никакая защита от мелкого дождя. Под плащами угадывается форменная одежда. А за Полхемским шлюзом, по другую сторону пролива, – освещенные окна и уличные фонари города между мостами в пелене дождя. Каждый вечер тысячеглазое чудище поглядывает на него то равнодушно, то со скрытой угрозой. Когда-нибудь этот город заметит могилу, которую сам себе выкопал, и обреченно пожмет плечами.

Дюлитц мгновенно понял, в чем дело. Он ждал этого визита. Втайне надеялся, что он не состоится, но ждал. И теперь, поставленный перед фактом, не мог – уже в который раз! – пожалеть о поступке, который завел его в такой тупик. Наверное, у каждого бывают моменты, когда изменяет привычка к осторожности, когда человек сам кладет свою жизнь на весы, где на одной чаше будущее, а на другой – прошлое. И впоследствии вспоминает свои поступки – почти всегда одинаково: как глупа и неосторожна молодость!

Но он-то уже далеко не юноша. Конечно же, надо было отказаться от этого поручения, прислушаться к голосу разума. Эта девчонка, Анна Стина Кнапп... если бы не она, опасность не подобралась бы так близко к его дому. Тогда он

считал – повезло. Она появилась как раз вовремя, у нее были все необходимые навыки. Редчайшее, счастливое совпадение. Что подвигло его? Может, сострадание, а может, мужской интерес. Но к чему теперь упреки? От упреков никакой пользы.

Опять колотят в дверь. Дюлитц спустился по лестнице. В прихожей уже стоит Оттоссон, не выспавшийся и все еще пьяный. Посмотрел на хозяина с немым вопросом: прикажете разобраться с негодьями? – и уже изготовился встретить незваных гостей, но Дюлитц выразительным жестом показал – отойди. Я сам.

И взялся за ручку, прекрасно понимая, что кости с минуты на минуту будут брошены, и от выпавшего числа зависит его жизнь.

Изразцовую печь только что затопили, дом не успел прогреться, и полицеймейстер Ульхольм не стал снимать перчатки. Оттоссон поклонился и дрожащими руками протянул ему поднос с графином и бокалами для вина. Ульхольм покачал головой и приказал кивком: поставь на стол.

Дюлитц предложил гостям сесть.

– Вы узнаете моего спутника?

Хозяин ответил не сразу. Зажег один от другого несколько канделябров и взгляделся.

– Господина Эдмана опережает его репутация.

Юхан Эрик Эдман моложе полицеймейстера самое малое лет на пятнадцать. Беспокойный, рыскающий взгляд, то и дело сморкается в носовой платок.

Ульхольм пригубил вино и одобрительно кивнул:

– Вот и хорошо. Человек ваших занятий обязан быть хорошо информированным. Господин Эдман, простите за не особо изящное выражение, – великий паук. Паук в сети осведомителей и шпионов. Паук... да, но и грозно рыкающий лев. Именно благодаря его неутомимым трудам предатель Армфельд был вынужден бежать

из страны, поджав хвост.

Дюлитц молча кивнул. Постарался, чтобы простой кивок выражал как можно больше восторженного поклонения редкостным талантам господина Эдмана.

– Господин Эдман пользуется уважением даже и в менее заметных... скажем так, теневых кругах. За свою непримиримость, за изобретательность... он может заставить преступника признаться в грехах, про которые тот сам давно забыл. Или даже вообще не знал.

Эдман странно зашипел. По-видимому, это шипение должно было означать смех, но определить трудно: тут же зашелся в кашле и спрятал лицо в платок. Ульхольм с похожей на подобострастие осторожностью похлопал его по спине – не помогло.

– К сожалению, у господина Эдмана нынче вечером серьезные затруднения с даром речи. Здоровье всегда было ахиллесовой пятой. Легкие – его худший враг и лучший союзник недоброжелателей. А нынешняя гнилая осень и вовсе лишила господина Эдмана возможности выражать свои мысли вербально. Будем надеяться, что временно. Но усердие его не пострадало нисколько. Потому-то он и не стал выжидать выздоровления, а любезно доверил мне говорить за него.

Ульхольм старался держаться свободно и даже позволял себе шутить, но в глазах его читался страх, который он с большим трудом пытался выдать за уважение.

Дюлитц промолчал, словно побуждая полицеймейстера продолжать.

– Итак, как вы знаете, Эренстрём был приговорен к отсечению головы. Королевский суд располагал всеми доказательствами его вины, даже в избытке. Как вы думаете, почему? Исключительно благодаря стараниям господина Эдмана. Эренстрём был помилован – в последнюю секунду, когда топор палача едва не коснулся его шеи. Он заключен в Карлстенскую крепость. И знаете, как только он глянул на деревянную кушетку и сырые каменные стены, его проняла такая тоска по пуховым перинам и башмакам из позолоченной кожи, что он, как по мановению волшебной палочки, тут же выказал бурную готовность к сотрудничеству.

Ульхольм поставил трость на пол и начал крутить большим и указательным пальцами, точно собирался просверлить в полу дырку.

– Эренстрём... вы же знаете, Дюлитц. Уважаемый дипломат при царском дворе в Петербурге. Весьма опытный, никогда не кладущий все яйца в одну корзину. Он прекрасно понимал: его пожизненное заключение через пару лет обернется почетом и орденами. Как только юный король достигнет совершеннолетия, от Ройтерхольма останется одно воспоминание. Мокрое пятно на дворцовом паркете. Но Эренстрём есть Эренстрём; дожидаться помилования и почестей в таких условиях – это чересчур. И в обмен на кое-какие, видимо, очень важные для него удобства, он согласился пойти на уступки. Но, конечно, не предавая заговорщиков больше, чем он посчитал необходимым.

Глаза Эдмана злорадно блеснули – полицеймейстер подбирался к сути.

– И вот песенка, которую нам спел Эренстрём: осенью к вам в дверь постучал некий посредник, имя которого я называть пока не стану. Щедро заплатил – за что? Я вам скажу за что. За то, чтобы вы нашли способ переслать изменникам письмо Магдалены Руденшёльд. Замысел вот какой: она должна составить список заговорщиков. Опасная история. Многие из них даже не подозревают о существовании друг друга. Прочитают и поймут: их не так мало. Заговор обретет новую силу, а густавианская реставрация – новую надежду.

Ульхольм долил вина из графина – от длинного монолога пересохло горло. Покосился на Эдмана – тот покачал головой. Выпил и задумался – видно, пытался вспомнить, на каком именно месте оборвалась нить его рассуждений. Раздраженно почесал голову под париком.

Эдман прокашлялся и начал ритмично притопывать ногой по полу, а руками показал, будто удерживает что-то, пытаясь сохранить равновесие.

В конце концов до Ульхольма дошел смысл этих жестов.

– Итак, Руденшёльдшу временно посадили к проституткам в Прядильный дом на Лонгхольмене – не успели, видите ли, сковать позолоченную решетку для более подходящего места. В нашем королевстве, вы и сами заметили, неторопливость почитается за добродетель. Прядильный дом управляется спустя рукава, и вы сразу увидели свой шанс. То, что Руденшёльд находится именно там, дало вам

возможность попытаться исполнить поручение. Мы допросили несколько палатов и совершенно уверены: так и было дело. Впрочем, надзиратели в Прядильном доме – сборище спившихся идиотов. Непонятно, каких свидетелей предпочесть. Кое-кто сохранил остатки разума и хитрости и соврал, а остальные настолько глупы и пьяны, что вряд ли могут составить более или менее стройную картину того, что происходит у них под самым носом.

Юхан Эдман с неожиданным проворством поднялся, сделал знак Ульхольму: подождите! – и передвинул канделябр на столе ближе к Дюлитцу, чтобы лучше видеть его лицо, когда тот будет отвечать на вопрос, который собирается задать полицеймейстер.

– Итак... список с именами заговорщиков. Где он, Дюлитц?

Настала очередь Дюлитца. Он с притворным спокойствием протянул руку за бокалом и сделал несколько глотков.

У него не было ответа на этот вопрос. Вкуса вина он не почувствовал.

– Все, что вы сказали, – совершеннейшая правда. Вся страна восхищается остротой вашего ума и пронизательностью. У меня нет никаких оснований отнекиваться. Но беда вот в чем: что-то пошло не так.

Ульхольм и Эдман быстро обменялись взглядами. Эдман кивнул: продолжайте.

– Я случайно нашел девицу... думаю, она единственная во всей стране, кому известен тайный ход в Прядильный дом на Лонгхольмене. Когда-то сделали для отвода грунтовых вод и осушения фундамента туннель, а потом забыли. Туннель такой тесный, что никому и в голову не придет, что через него может пролезть человек. Но девице удалось – прошлым летом она сбежала. Я уговорил ее проделать этот путь еще раз – и больше ничего про нее не слышал.

– А почему вы считаете, что она выполнила задание?

Дюлитц помрачнел. Он и сам задавал себе этот вопрос, и не раз.

– Она дала слово... Послушайте, я окружен лжецами с утра до ночи, месяц за месяцем, но ей я поверил. У нее было отчаянное положение, и я предложил ей единственный выход. На Лонгхольмене ее нет – в этом я уверен. А что касается списка – не знаю, существует ли он. Но даже если существует – понятия не имею, где находится.

Эдман подался вперед и пристально уставился на него – за много лет он научился улавливать малейший проблеск лжи в показаниях. Дюлитц спокойно встретил его взгляд. Ульхольм нервно побарабанил пальцами по столу.

– Ваши занятия, господин Дюлитц, не дают особых оснований для доверия.

Дюлитц, не отводя взгляд от Эдмана, встал и перегнулся через стол:

– Если бы у меня был этот список... неужели вы думаете, что я уже не начал бы переговоры о цене? Представьте, не выше, чем взял бы с заказчика. Даже со скидкой – снисходительность полицейского корпуса важнее. Куда важнее. – Он заставил себя улыбнуться. – И сами подумайте: если бы я уже выполнил свои обязательства и передал список заказчику, чье имя я даже не знаю, разве не заметил бы господин Эдман, с его-то известной всей стране пронизательностью, некоторое... как бы сказать поточнее... некоторое шевеление в рядах густавианцев?

Эдман вновь откинулся на стуле. Углы рта сдвинулись в стороны в некоем подобии улыбки. Кивнул Ульхольму.

Полицеймейстер вздохнул и поднялся. Отряхнул рукав от несуществующей пыли.

– Ну хорошо. Мы теряем время. Найдите девчонку, Дюлитц. Она – ключ ко всей истории. Только она знает, где этот список... на сегодняшний день – важнейший документ Шведского королевства. Это отнюдь не преувеличение.

– Я уже многое предпринял, но пока безрезультатно.

Эдман внезапно вытянул левую руку, медленно и торжественно – жест, достойный римского императора, решающего судьбу побежденного бойца на

гладиаторской арене. Сложил правую руку наподобие тисков и сильно сжал большой палец.

Ульхольм зевнул, прикрыв рот тыльной стороной ладони в так и не снятой перчатке.

– Вы поняли, что хотел сказать господин Эдман? Знаете ли, на что он намекает? А вот на что: ваше желание сотрудничать можно стимулировать, если немного повысится ставки. Наши тисочки для пальцев, конечно, чуть ли не с античных времен, но пока работают. Немного смазать петли – и как новые. Когда начинают хрустеть косточки, даже самые стойкие начинают петь свою арию *molto vivace*, чуть ли не *presto* – надо же поскорее избавиться от тяготящих душу тайн. А мы, в свою очередь, рады открутить винты – уж больно много шума. Но с вами... Уверяю, господин Эдман даже не прикоснется к винтам – только ради удовольствия послушать, как в далеком будущем, на рубеже веков вы все еще вопите от боли.

III

На пожарище все еще пляшут зловещие ночные тени, но их становится все меньше – начинается рассвет. Вокруг обгоревших руин Хорнсбергета толпятся черные от сажи, усталые пожарные. Время от времени слышатся тревожные возгласы, но они уже знают: работа сделана. Огонь отступил. Впрочем, насосы, сменяя друг друга, еще работают, извиваются кожаные шланги: надо залить горящий луг, пока не подул ветер. Еще час назад казалось, что пожар охватил всю округу, но с каждой минутой его владения съеживаются и темнеют. Горький, терпкий запах и мокрая сажа – вот и все, что осталось от гордого, всепоглощающего огня. Клубится густой черный дым, но последние языки пламени и бессильное ядовитое шипение уже не пугают победивших людей.

Могила ста детей.

Ста.

Под деревом, скрытые от глаз медленно рассеивающимся дымом, над корытом для овечьего водопоя стоят двое. В корыте белеют ноги утопленника. Солнца не видно. Трудно понять, что тому виной: дым пожарища или утренний туман.

Эмиль Винге держит Карделя за руку, вздрагивающую с каждым хриплым вдохом. Тот постепенно приходит в себя. Никакие слезы не смягчают жжение в обгоревшей коже лица. Вместе с ночным мраком исчезли и рога, и чудовищная бычья голова. Пальт выглядит почти как обычно, если не считать полностью выгоревших волос и ожогов на лбу и щеках. Кое-где уже появились волдыри.

- Пойдемте, Жан Мишель.

Кардель с трудом повернул к нему голову. Глаз почти не видно – настолько отекли веки.

- Держитесь за мое плечо. И так хуже некуда, но если нас здесь застанут...

Кардель будто только что его заметил и встряхнул головой.

- Я никогда никого не убивал... по приказу – да... ядро, порох, прицелиться, учесть параллакс... это да. Ну, драки, тоже да, спуску не давал, платил с процентами... но такое... беззащитный мальчонка. Чем он мог мне ответить... он же ни в чем не виноват! Тре Русур... он же ни в чем не виноват! Он же не виноват, что безумен. Ну, нет. Останусь и дождусь справедливого суда.

Эмиль глянул через плечо. Пока их еще нет... пока еще не поблескивают в первых лучах солнца полицейские бляхи. Только пожарные, да еще крестьяне с ближайших хуторов – может, и им удастся, особенно не рискуя, погреться в лучах славы бесстрашных победителей огня. Скоро и полицейские оторвут похмельные головы от подушек – надо же доложить начальству о причинах такого пожара.

- Справедливого суда? Боюсь, ваше ожидание будет и долгим, и бесплодным. Вы это знаете лучше меня, Кардель. Наша задача – добиться поистине справедливого суда, без кавычек. И сделать все, чтобы такой суд состоялся.

Эмиль посмотрел на труп. Кардель утопил юношу, никаких ран, но мутная вода в корыте неизвестно почему стала розовой.

- Его смерть было нетрудно предвидеть. И другие смерти – тоже на нашей совести. Да, Эрик Тре Русур поджег Хорнсбергет, но кто дал ему спички? Мы и

дали. А Тихо Сетон отлил свечу. Вы всего-навсего помогли Эрику. Его смерть была предрешена, и чем раньше, тем лучше. Хотел отомстить Сетону. Он, возможно, даже не догадывался о детях. Но Сетону отомстил – лишил щита, которым тот прикрывался. И если вы чувствуете за собой вину, самое лучшее оправдание – завершить то, чего хотел Эрик. Иначе все жертвы ни к чему. Пустое.

– Никакая борьба не имеет смысла. Мир лучше не станет.

– Но хоть как-то оправдать потери! Отомстить за изувеченную судьбу чистого, влюбленного мальчика!

Эмиль потянул Карделя за руку. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места двухметровую каменную статую.

Кардель закашлялся и с трудом, хриплым, прерывающимся шепотом выдавил:

– А вам-то какого рожна взбрело мне помогать? У меня был выбор: вы или она. Я выбрал ее. – Он вырвал руку.

– Знаю. И знаю, почему.

– Хотел помочь – и сжег ее детей... И не только ее... сто детишек. Сто...

Эмиль покосился на пожарище. Там, у холма, меньше часа назад он видел девушку.

Никого.

– На вас только часть вины, на другую часть претендую я. Но я не могу повлиять на ваше решение. Уж кто-кто, но никак не я. Но... помните тот день, когда вы вывели меня из тяжелого запоя? Вы дали мне свободу выбора. Помните? Остались сидеть на набережной и ждали, вернусь я или нет. Теперь моя очередь. Но если решите последовать за мной, дайте слово. Даже поклянитесь. Впереди битва, в которой мы обязаны победить.

Наступило молчание. Эмиль Винге, затаив дыхание, ждал ответа. С неба по-прежнему, хотя все реже и реже, слетали серые мучнистые мотыльки пепла.

- Да. Даю слово, - вяло пробормотал Кардель. - Обязаны победить.

- Любой ценой?

- Любой.

- Тогда пошли. - Он потянул Карделя за собой.

На этот раз успешно. Пальт покачнулся и с трудом сделал первый неверный шаг. Эмиль подхватил его под руку. Карделя заметно качало. По другую сторону холма - дорога в Город между мостами.

На вершине Кардель внезапно остановился. Бессильно повисшая рука внезапно окаменела. Преодолевая боль, он с трудом поднял ее и преградил Эмилю дорогу.

- Дорога в ад, - произнес он с трудом. - Думаю, вы и сами понимаете. И вы собираетесь переться туда с инвалидом, который вас уже однажды предал?

- Вам тоже не позавидуешь по части напарника, Жан Мишель. - Смешок Винге был больше похож на стон. - Не забудьте: я постоянно советуюсь с мертвецами и не всегда отличаю поэзию от реальности. Попробуйте предложить другой расклад. То, что было нашим желанием, может стать приговором. Но... куда денешься? Теперь нами движет уже не надежда, а долг.

- И что ж... останемся друзьями, пока мы вместе?

Эмиль покачал головой. Он совершенно не умел врать.

- Нет, Жан Мишель. Друзьями нам не стать никогда. У меня только одна просьба: сначала разберитесь с девушкой. Пока вы это не сделаете, толку от вас не будет. А потом приходите.

- А вы? Вы-то с чем будете разбираться?

– Разбираться? Ну, хорошо... первым делом пойду к Исаку Блуму и сделаю все, чтобы продлить наш мандат. Это будет нелегко, если вспомнить, как мы расстались. И начну понемногу вынюхивать дичь. Будьте готовы к охотничьему сезону, Жан Мишель.

Кардель высвободил руку и двинулся вперед. Каждый шаг сопровождался сдавленным стоном.

Эмиль в последний раз оглянулся на дымящиеся развалины. Не только прекрасная усадьба, не только десятки детских жизней принесены в жертву – он и сам чего-то лишился. Сколько Винге себя помнил, в душе его всегда горело пламя гнева. Беспричинного, как он теперь понимал. Но то, что раньше скорее напоминало огонь свечи, ныне превратилось в полыхающий костер. И чем полнее осознавал он свою беспомощность, тем сильнее этот костер разгорался. Он чувствовал себя плотвичкой в грубой рыбацкой сети, бабочкой под толстым стеклянным колпаком. То, что произошло, – уже произошло, что сделано – то сделано, ничто не вернуть, но цепи ответственности и вины порвать невозможно. Раньше он помогал Карделю по собственной воле, а теперь... теперь это навязчивая идея. Idee fixe. Он обязан сделать все, что от него зависит.

Иначе Город между мостами так и останется его пожизненной клеткой.

Ярость и страх неразлучны, но, наверное, страх все же сильнее. Инстинкт самосохранения заложен в душу раньше и глубже. Напрасно он пытается себя утешить. Никуда не денешься: он лицом к лицу с минотавром. Он решился проникнуть в самое сердце лабиринта, он слышал предсмертные крики детей. Что может быть хуже? Или предстоит что-то еще более жуткое?

Часть первая

Охотничьи псы

Весна и лето 1795

Охотничьи псы

Сияет все, поскольку все горит,
И что ж? Пожар погас, он больше не страшит,
Истаял прочь в сиреневом дымке.
Осталась пепла горсть у каждого в руке.

Карл Густав аф Леопольд, 1795

1

Осень перешла в зиму, потом и зима уступила место весне.

Слухи – возможно, и слухи. Или сплетни, но для сплетен чересчур уж нравоучительного свойства. Страшная сказка для взрослых. Якобы поселилось в Городе между мостами чудище, бродит по ночам в переулках, и не дай бог грешнику с ним повстречаться. О внешности свидетели отзываются по-разному. Рост высокий – тут-то, положим, сходятся все. Лицо... даже и лицом назвать нельзя. Не человек – это точно. Какие-то остатки волос есть, но, можно сказать, лысый. Другие знают побольше, сами видели: вместо руки – черный коготь. Повстречался с ним – конец. Никакой надежды. Откуда взялся – тоже неизвестно. Поговаривают странное: дескать, тот самый, никто другой, именно он сжег детский дом в Хорнсбергете. Подпалил, не рассчитал и сам сгорел. Неслыханное преступление, даже в преисподнюю не пустили. Вот и бродит там, где жил когда-то. Искушает грехи. Но обиженным судьбой бояться нечего – на этом сходятся все.

Двор идет под уклон. Франца Грю это не беспокоит, но только пока он трезв. Если выпил – беда. Как ни пытается пройти по прямой к отхожему месту – не

получается. Кидает из стороны в сторону. И каждый раз одно и то же: чертова крапива тут же находит дыры в чулках, как будто у нее и другого дела нет. И мстит он ей каждый раз одинаково: спускает портки и мочится – черт с ним, с мушиным царством в покосившемся сортире. К вечеру сильно похолодало, но он не чувствует холода. Поднатужился, выдавил последние капли. Годы берут свое – позывы все чаще, а результаты все скромнее. А может, и не чаще. Нет, все же чаще – крапива еще мокрая после предыдущего посещения. Да с чего бы ей сохнуть в такой холод. Стряхнул последние капли, опустил рубаху и натянул штаны. Огляделся. Каменные домишки уже разваливаются, хотя им всего-то несколько десятков лет. Заложены после большого пожара в квартале Мария, даже расчищать ничего не пришлось. В прогалах между домами кое-где видна ртутно поблескивающая вода Рыцарского залива. А за самыми дальними хижинами – Город между мостами. Как он не утонет под тяжестью дворцов, которые понастроили богатеи! Прогуливаются целыми днями, лопочут по-французски, а у него не хватает на бутылку приличного пойла. Нормального пойла, не кислятины, от которой сводит челюсти. Он представил, как вода залива поднимается все выше, лижет каменные финтифлюшки на стенах, плещется на застеленных коврами лестницах, как коричневая флотилия дерьма из затопленных сортиров, покачиваясь на волнах Меларена, подбирается к позолоте решетчатых окон. Как захлебываются грязной жижей выряженные ведьмы в съехавших набок париках, как вопят их кавалеры, повисшие на ветвистых рогах хрустальных люстр. И хорошо бы потопу этим не ограничиться. Потоп – значит, потоп, никаких скидок. Милости прошу, водичка, и к нашему холму тоже. Только не зарывайся – до моего порога, и ни на дюйм выше. Хей до[2 - Hej d? (шв.) – прощайте.], бродяги, бляди и попрошайки. И богачи заодно.

Вдохнул с удовольствием, зачарованный представившейся картиной, а выдох принес разочарование.

Пустые мечты.

Хотя бы мельницы остановить. От их натужного воя и скрипа голова разламывается. И все равно – лучше, чем в доме. Мелкота шастает туда-сюда, он так и не научился их различать. Погонишься за одним, он шасть за угол, а там... то ли этот, то ли другой – хрен разберешь. Ну и дашь затрещину первому попавшемуся, другим в назидание.

Пошел в спальню. Ведьма где-то шляется, и слава богу – можно спокойно допить, что осталось, без нытья: кто за квартиру будет платить, где деньги на

хозяйство... Пошла бы подальше.

Что же такого было в его жизни? Почему все не так? Слова оправдательной речи складываются с трудом. Надо бы как-нибудь попробовать на трезвую голову, а то мысли путаются. Он же может все объяснить. Работал с утра до ночи, трудился, как пасторский сын перед домашним опросом. Кто бы оценил... кабы оценили, и жизнь пошла бы по-другому. Пил бы рейнское из хрустального графина, жрал бы изюм и вафли. С красоткой на коленях. И месть, месть – отомстил бы всем, кто лишил его заслуженного счастья, всем врагам и недоброжелателям. Будет прихлебывать золотистое вино, глотать устриц и смотреть, как их руки-ноги наматываются на спицы дубового колеса.

Стук в дверь. Черт бы их всех подрал... Не стал открывать – все равно ничего хорошего ждать не приходится. Пусть стучат... и вздрогнул так, что чуть не свалился на пол: дверь слетела с петель, брызнули щепки. Кто-то, он даже не успел сообразить кто, схватил его за шиворот и поволок на двор. Треснулся лбом о порог... спасибо, что пьяный. Тело как ватное – иначе бы переломал ребра, а то и хребет. Получил несколько пинков ногой в зад и оказался в той самой мокрой крапиве.

Франц Грю закрыл глаза: уж не приснилось ли? Подождал немного: а вдруг и вправду сон, мало ли что приснится спяну? Сейчас исчезнет его мучитель, как его и не было, и он проснется в своей койке. В худшем случае на полу. Но тут услышал звук, знакомый, как собственный голос: хлопок пробки, как раз той самой пробки, которой была заткнута та самая бутылка, из которой... там же еще полно! Он вскочил. Но не успел сделать даже шага на подгибающихся ногах, как пришлось увертываться: бутылка просвистела мимо его уха, ударилась о стену дома и оглушительно звонко рассыпалась на осколки. Наверное, с таким звуком и миру придет конец, подумал было, но мысль додумать не успел: чья-то рука схватила за волосы и поволокла по земле. Сколько синяков будет – не сосчитать.

Он поднял голову – кто-то огромный, с широченными плечами. Жизнь выработала у Франца Грю чувство опасности: он быстро сообразил – худшее впереди. От этого типа просто пышет яростью, аж дрожит, как якорная цепь. Чего же он такого натворил, что заслужил такое? Решил начать с мелких

провинностей – может, удастся выторговать помилование.

– Знаю, знаю, – сказал жалобно. – Стены тонкие, говорят, храплю. Сильно...

– Заткнись.

Франц лихорадочно перебирал свои грехи, выбрал первый пришедший на ум.

– Яну Трулёсу из «Последнего эре» долг я давно отдал, если он что-то там... он врет или забыл: пьян был в стельку.

– Молчи, говорю.

Хриплый, грубый голос, даже трудно вообразить, что человеческая гортань может издавать такие звуки. Только сейчас Франц вспомнил ходившие по городу слухи. Два и два и дурак сложит. Он затаил дыхание.

– Женщина, с которой ты живешь... у нее ведь дочь от первого мужа? Лотта Эрика, не так ли? Тринадцать скоро исполнится.

– Ну... – Он неохотно пожал плечами. – И что?

– Ты к ней полез. Девчонка тебе чуть глаза не выцарапала, и ты выгнал ее из дома. Так?

Молча кивнул. Что тут отрицать – так и было.

– Завтра же она вернется домой. А тронешь ее хоть пальцем – скормлю этот палец свиньям. И отрублю еще пару в придачу.

Чудище присело на корточки. Франц Грю уставился на собственные колени – кто его знает, может, и правду болтают: глянешь в лицо – тут тебе и конец пришел.

Чувствительный удар кулаком по голени заставил его поднять голову.

– Я бы тебя обезвредил раз и навсегда. Ноги-руки переломал. Не делаю этого только по одной причине: девчонку будешь кормить и одевать, как собственную дочь. И денежку к празднику на сладости. Благодарю Бога, что отделался легким испугом. Только ради нее. И имей в виду: она знает, где меня искать. Понял?

– Но я...

– Найдешь работу. Пусть такую, которую ты считаешь ниже... своего достоинства, – произнесло чудище с изрядной долей яда. – Таскай кровельное железо на весы. Чисти хлева. Настоящий мужик всегда найдет работу. Заслужишь хоть каплю уважения.

Последние пары хмеля выветрились. Франц Грю вспоминал: где же он слышал этот голос? Где видел эти невероятные плечи? Как все это свести вместе?

Чудище встало и двинулось к дороге к Полхемскому шлюзу.

Грю затаил дыхание. Изуродованное лицо внезапно обрело имя.

– Кардель! Микель Кардель! Ты же служил на «Ингеборге»! А я на «Александре». Забыл, что ли? Стединг начал, а «Принц Нассау» шарахнул всем бортом. Я же видел, как «Ингеборг» тонул!

Что-то еще... Грю напрягся. Из тумана памяти выплыл осенний пожар.

– Ты же был там, когда Хорнсбергет сгорел. Ты и поджег, так все говорят. Детоубийца!

Давно он не мыслил так ясно, подхлестываемый ненавистью и болью.

– Ты и сюда пришел грехи замаливать, скотина. Тебе наплевать на Лотту!

Он встал во весь рост и, спотыкаясь, пошел вслед.

– Ты ничем не лучше меня! Получит она свой ломоть хлеба, получит. А детишкам-то тем и хлеб никакой не нужен. Думаешь, ты лучше меня, Кардель? Ты хуже! В

сто раз хуже! У меня на руках крови нет!

Последние слова испугали его самого. Он, как мог, добежал до дома, поднял сорванную дверь, приложил к проему и подпер спиной.

Так Грю стоял довольно долго, трясясь от страха и облегчения. Страх пройдет, забудется, а триумф останется.

За углом дома Кардель остановился отдышаться. Здесь, конечно, его не видно, но надо было отойти подальше, чтобы и слышно не было. Каждое слово – как удар кнута. Долго стоял, пытался утешиться: по крайней мере, хоть чем-то помог девчужке Лотте Эрике. Не та, кого он ищет, но все-таки. Не в первый раз в своих поисках натывается он на совсем юных девушек на краю гибели и старается помочь, чем может. А они в благодарность помогают ему. Выброшенных на улицу девчужек много, их никто не боится. Им благодаря их безбидности открыт доступ туда, где ему без колебаний указывают на дверь.

2

Кардель проморгался, потряс плечами, чтобы согреться, тяжело поднялся с откидной койки и открыл дверь. Бледное личико под головным платком. Одна из многих, кого он защитил в какой-то драке, а в какой именно – забыл напрочь. Сделала книксен, застенялась и уставилась в пол. Видно, застенчивость помешала выразить благодарность по-другому. А может, и не застенчивость; Кардель уже привык: мало кто выдерживает смотреть ему в лицо. Девочка ничего плохого в виду не имела, но, как ни крути, лишнее напоминание: после пожара смотреть на него без ужаса невозможно.

– Рыбаки вернулись. Костры жгут, отсюда видать.

Как же ее зовут? Имя не вспомнить, но кое-какие детали всплыли. Она служила у купца в Русском подворье – тип, который регулярно ее обсчитывал, а в утешение предлагал собственную постель.

– Спасибо.

Она зачем-то опять сделала книксен, довольно изящно. Научена горьким опытом: что бы ни происходило, лучше подчиниться и выказать почтение.

– А ты-то как? Не голодна, часом?

Слава богу, покачала головой. Иначе пришлось бы предложить залежавшуюся в хлебной банке горбушку, настолько жесткую, что даже для его привычных челюстей задача не из легких. Стыдно.

Еще один книксен, и она исчезла так беззвучно, что он даже не расслышал топота маленьких ножек по лестнице.

Кардель с трудом сжевал горбушку и натянул пальто, которое только что вывернул наизнанку. Ткань на локтях настолько истерлась, что напоминает марлю.

Меларен уже вырвался из зимних оков. Озеро, подпитываемое тающим снегом со всей округи, напоминает вздувшийся мускул, толкающий перед собой огромные белые плоты льда. Вполне можно представить на них плотогонов с длинными шестами. У опор Северного моста льдины наползают друг на друга, встают дыбом. Пешеходы торопливо перебегают мост – многие помнят, как пятнадцать лет назад ледяные груды снесли опоры, а если не помнят, наверняка слышали рассказы. И наконец, огромные льдины ломаются, а обломки прорываются в балтийские воды, чтобы без помех таранить корпуса стоящих на рейде кораблей. Стоит такой грохот, что невозможно разговаривать, люди кричат в ухо друг другу.

Кардель перешел мост – быстро, но и без особой спешки. Он давно понял: фатализм – лучший способ перетерпеть жизнь. Если все время думать о грозящих тебе опасностях, лучше сразу ложиться в гроб. Миновал Красные Амбары, где уже спуют рабочие. Темнота отступает, весна на пороге, надо готовиться к коммерции. Работают быстро – не столько из усердия, сколько чтобы не замерзнуть. Там, где мыс сужается и заостряется, – мост через озеро Клара. Куда более жидкий по сравнению с Северным, но и не подвергающийся таким яростным атакам ледохода.

Ухватился здоровой рукой за канат, заменяющий перила. И вгляделся: девчушка права. Рыбаки с верховьев Меларена уже здесь. Лодки вытащили на берег, греются у костров, их дым и в самом деле виден из любой точки города.

Идти по берегу не так легко. Отмерзающая земля расставила коварные ловушки: то тут, то там нога проваливается в холодную жижу, вот-вот зачерпнешь сапогом или споткнешься о вывихнутый морозом из своего гнезда булыжник. Кардель, сопровождая каждый шаг замысловатыми ругательствами, подошел к ближайшему костру. В землю криво воткнуты колья. На них сушатся сети, вокруг суетятся дети и женщины, латают бечевкой прошлогодние дыры. Мужчины хлопчут у лодок – чем именно они заняты, выше его понимания. Он вообще всегда удивлялся, как можно решиться выйти в море на такой маленькой и ненадежной посудине. Эти рыбаки, должно быть, такие же фаталисты, как и он сам.

Постоял в нерешительности, не зная, к кому бы обратиться, пока не поймал на себе пристальный взгляд одного из рыбаков, и двинулся к нему. Бородач со спутанными волосами устроился на шаткой табуретке у целого ряда коптилен. Не так легко определить: то ли в седой бороде все еще попадаются черные волосы, то ли это сажа от дыма. Видно, из-за почтенного возраста его посадили на легкую работу: следить, чтобы не было пожара. Он уставился на Карделя с явным подозрением. Скорее всего, заметил казенные сапоги, а может, и белый пояс под вывернутым наизнанку пальто. И, конечно, устрашающая обожженная физиономия. Большое дело – Кардель уже привык к брезгливым взглядам.

– И как улов? – Он небрежно откашлялся.

Старик неопределенно пожал плечами.

– А табак есть?

Он даже вздрогнул от неожиданности: тонкий, почти женский голос. Но при этом надтреснутый и слабый, словно без участия легких; слова формируются тем малым количеством воздуха, что поместился в беззубом рту. Собственно, вопрос риторический: кисет у пояса и дурак бы заметил. Развязал кисет и протянул старику. Тот отрезал приличный кусок маленьким ножичком, словно соткавшимся из дымного воздуха. Только что его не было, и вот – на тебе. Сунул в рот и начал медленно жевать, время от времени сплевывая коричневую жижу.

Кардель заметил рядом плоский камень и присел, стараясь перенести опору на ноги, чтобы не промочить пальто. Торопить не надо: аванс внесен, осталось дожидаться ответа. Старик довольно долго не произносил ни слова: жевал с полужакрытыми глазами и сплевывал, жевал и сплевывал.

– И что?

– Ищу с прошлой осени. На Кунгсхольмене каждую собаку спрашивал, кто-то вроде видел. Там видел, сям видел – и всё. Здесь, у Клары, след обрывается. Да... тут, конечно, приболел я маленько и не успел – уже лед встал. С тех пор и жду, пока вы вернетесь.

Рыбак коротко кивнул, словно странное вступление ничуть его не удивило. Но промолчал. Кардель подождал немного и продолжил:

– Девушка. Светлые волосы и одежда не то чтобы грязная... в общем, закопченная. Ну да... после пожара-то. В Хорнсбергете, осенью... сам знаешь. Анна Стина зовут.

Рыбак сплюнул в последний раз и прочистил горло.

– Я уже старый. Отец утонул, мать померла в лихорадке. Родись мы в один год, я бы их давно пережил. А теперь, сам видишь, ни на что больше не гожусь. Разве что за угольками приглядывать. Но на что, на что, а на поразмышлять времени выше головы.

Кардель только теперь заметил, что в левом глазу на месте зрачка – мутное белое пятно, похожее на мраморный шарик.

– Глаз совсем плохой. Бельмо растёт и растёт. Я его и сам вижу. То там, то тут... между деревьев, на воде и даже на парусе. Знаешь, что думаю? Думаю, смерть на меня уже тень набрасывает, с каждым днем все ближе. Вот о ней и думаю. За каждым она придет, за каждым. Хорошо бы знать, когда.

Он мотнул подбородком в сторону мальчишки, латающего сеть.

– И за ним придет. И за большим, и за малым. Неверный шаг у релинга – и до свиданья. Нет, ничего плохого не скажу – кое-кому и в радость, но, как говорится, держи стол накрытым и следи, чтобы очаг не погас. Конечно, надо бы бояться, ан нет. Боюсь, конечно, но не так уж чтобы. Вот сказал я – хорошо бы знать, а теперь думаю – ни к чему. Ничего хорошего. В море на службу не пойдешь, слово Божье уж и не помню, когда в последний раз слышал. Но, знаешь, никому не стоит тащить свои грехи в могилу. Вот и думаю: надо все свои дела привести в порядок, пока время есть. Расплатиться с долгами.

Порыв холодного ветра заставил старика поплотнее закутаться в одеяло.

– С чего бы это здоровенному мужику искать девушку? Много, конечно, причин, но похвальными их не назовешь.

Кровь ударила Карделю в лицо, перехватило дыхание.

– Я не желаю ей зла.

Он набрал горсть почерневшего снега и растер горящий лоб и шею. Немного успокоился.

– Не ты один хочешь расплатиться с долгами.

Старик помолчал, долго размышлял, стараясь оценить слова Карделя, потом коротко кивнул:

– Помню я ее. Хотел бы помочь, но... заноза до сих пор сидит. Знаешь, сколько ртов на плечах? Сами еле перебиваемся. Каждый должен делать свое, иначе не выживешь. Скоро и от меня проку не будет. Что ж... скорее утоплюсь, чем буду сидеть у других на шее. Но я рад, что ты пришел. Может, хоть теперь чем-то ей помогу.

Он пожевал губами и сплюнул. Слюна все еще желтая от табачного сока. Кардель опять протянул ему кiset. Старик благодарно кивнул и отрезал еще кусок.

- На следующий день после пожара. Колокола всю ночь трезвонили. Зарево-то мы видели, и что ж теперь... у вас, сухопутных, свои беды. Ваши беды - не наши беды, а наши - не ваши. Пришло утро, дым помаленьку рассеялся, а она так и сидит на берегу. Точно как ты сказал: светленькая, одежда черная от копоти.

Он кивнул в сторону полощущей ветви в воде плакучей ивы. Совсем недалеко, сто локтей. Не больше.

- Вон там и сидела. Может, и двигалась, но вроде и нет. И на следующее утро: глядим, а она так и сидит. Послали детей спросить, как и что - ни слова. Как каменная. А что мы? Оставили ее в покое, что ж еще... Лучше не знать, что с ней не так, почему она людей не замечает. А я сидел, точно вот как сейчас сижу, и вот что я тебе скажу: за три дня она и пальцем не шевельнула. Лицо все в саже, только белые полоски от слез, отсюда видно было.

- А дальше?

- А дальше пришел какой-то мальчуган. Лет десять, ну, двенадцать, это от силы. Что-то там он ей говорил, потом уселся рядом. Может, знакомая, откуда мне знать. Потом взял за руку и поднял. День был ясный, как сейчас помню. Повел ее под ручку, будто кавалер какой. А куда пошли - тут и сообразать нечего. - Он кивнул в сторону Города между мостами.

Отсюда, в осаде ледяных таранов и катапульт, город выглядел довольно жалко. Шпили церквей вздымались в небо, как руки в мольбе о помощи.

- Теперь ты знаешь все, что знаю я. Больше мне сказать нечего. Не мешай. Держать огонь в узде - занятие не хуже, а может, и важнее других. Но ты и сам это знаешь, судя по твоей физиономии.

3

Настойчивый стук вытолкнул его из беспорядочного сна.

Эмиль Винге встал и пошел к двери. Мальчишка-посыльный из дома Индебету. Наверняка незаконный сын кого-то из полицейских. Или кто-то сжалился над уличным бродяжкой, дал пару рундстюкке – тоже не исключено.

Светлые волосы взлохмачены, вряд ли мыл голову за последние пару месяцев. Одет не по погоде, под носом – хрустальная вожжа соплей. Видно, что обрадовался поручению – бег помогает согреться.

– За вами послали. Ждут в Топорном переулке.

– Погоди пять минут... впрочем, нет, незачем тебе ждать. Беги назад, скажи, сейчас приду.

Винге зажег свечу. Пришлось несколько раз покачать вправо-влево часы Бьюрлинга, чтобы крошечные бриллиантики на циферблате поймали свет. Начало шестого. Сырое утро, занятое не столько своими весенними обязанностями, сколько воспоминаниями о прошедшей зиме.

Оделся, набросил пальто и спустился в переулок. Темно, еле-еле светит единственный фонарь – остальные уже высосали ночной рацион масла и погасли. Город между мостами по-прежнему не принимает его всерьез. Хотя он и научился кое-как разбираться в паутине переулков, то и дело приходится останавливаться на развилке и вспоминать: а дальше как? Направо? Налево? Он уже давно обнаружил: самый лучший ориентир – Мушиный парламент. Если запах есть – значит, ветер южный. Нет запаха – северный. А сегодня, как назло, – холодно, но ни ветерка.

В Топорном переулке его уже ждали констебль и с ним еще двое. Эмиль одного из них видел и раньше, но попытка вызвать в памяти имя окончилась полным провалом. Наверняка растерянность отразилась и на физиономии. Второго видел впервые.

– Юханссон. Мортен Юханссон.

Констебль шагнул вперед. Его подручные, должно быть, такого низкого ранга, что и представляться не должны. Но умеренно уважительные взгляды бросать

не забывают. Перешептываются о чем-то. За глаза они называют его Привиденнице. Брата называли Призрак дома Индебету, значит, сам он у них числится рангом ниже. Так, наверное, смотрят на только что заболевшего чумой буржуа.

Он повернулся к их начальнику.

– Посмотрите, господин Винге. – Он показал в сторону.

На мостовой лежит тело. На лицо наброшен плащ.

– Кто-то треснул его так, что череп чуть не пополам. Сигвард и Беньямин поспрашивали – никто ничего не видел и не слышал. Довольно странно... если драка, обычно находятся свидетели. Шум, ругань – как не поглядеть в окно. Первое развлечение. А без свидетелей – пиши пропало. Так бы послал за могильщиком и успокоился. Но поговаривают... вы вроде бы видите то, что другие не видят. – Он улыбнулся, то ли уважительно, то ли насмешливо.

– Кто его нашел?

– Парень из ночной стражи. Уже домой собирался, последний обход. Примерно с час назад. Говорит, чуть не споткнулся.

– Он так и лежал, когда вы пришли?

– Ну да. Сдвинули малость с дороги. На сажень, не больше.

Просить не пришлось – полицейские без всяких просьб отошли в сторону и начали раскуривать трубки, с интересом поглядывая за его действиями.

Винге обратил внимание, что один из помощников констебля дрожит от холода: рубаха на голое тело. Он махнул ему рукой – иди грейся, ты здесь больше не нужен. Откинул плащ. Покойник лежит на спине. На вид лет пятидесяти. Пустой, мертвый взгляд. Почти лысый. На голове рана с запекшейся кровью, довольно небольшая – кровоизлияние в основном подкожное. Рана небольшая, а черно-синяя гематома почти во все темя.

Винге обшарил карманы. Кисет плохо завязан – в кармане полно табачной крошки. Карманные часы – покривившиеся стрелки под разбитым стеклом. Кошелек на поясе брюк. Потряс слегка – зазвенели монеты.

Это не ограбление, прошептал Сесил. И вряд ли драка, если учесть возраст убитого и его одежду.

Эмиль резко обернулся – никого. Констебль подался было к нему, но он покачал головой – нет, ничего. Показалось.

Да, одежда вполне приличная, у него наверняка было на что ее купить. И ночевал не под забором. Что еще? Что еще, Сесил?

В драке обречен: вряд ли смог бы себя защитить.

Эмиль посмотрел на покрытую грязью мостовую.

– А дождь шел, когда вы его нашли?

– Еще какой! Будто сам Господь горшок опрокинул.

Посмотри повнимательней, прошептал Сесил.

Эмиль отошел на пару шагов и соскреб верхний слой глины. Полицейские что-то зашептали друг другу. Одобрение или насмешка? Скорее, одобрение. Он их не разочаровал. Даже тот, в рубахе, никуда не ушел, а смотрел во все глаза. Ни с того ни с сего обхватил себя руками и начал насвистывать простенькую мелодию – Эмиль слышал ее не раз от собутыльников. Забавный пересказ библейского сюжета о Ное, сочиненный давным-давно и неизвестно кем.

Чуть повыше по склону – подъезд с крыльцом в несколько каменных ступенек.

Посмотри там. Посмотри на земле, на стене, на ступеньках. Думаю, он сидел там.

Сесил прав. Не так-то легко увидеть. На мореной древесине – маленькие черные пятна. Приложил палец – остался красный след, будто раздавил божью коровку. На верхних ступеньках лестницы под козырьком, там, куда не заливал дождь, –

такие же следы.

Налево, налево... глянь налево.

На булыжнике рядом с крыльцом – маленькие белые черепки.

Ага... теперь загляни ему в рот.

Эмиль, то и дело оскальзываясь на мокрой брусчатке, вернулся к покойнику. Приоткрыл рот и заглянул. Темно, как в могиле. Морщась от отвращения, залез пальцем, оглянулся и крикнул:

– Можете дверь открыть?

Один из помощников кивнул и постучал. Выглянула заспанная старуха. Винге отодвинул ее в сторону, зашел в дом и поднялся по лестнице на чердак. Приложил ухо и услышал то, что ожидал. То усиливающийся, то ослабевающий шорох. Крысы. Сотни крыс.

– Зерно он там держит, зерно. Овес, кажется...

Констебль кивнул одному из помощников, тот поднялся по лестнице, отодвинул Винге в сторону и налег на дверь.

Влажный, застоявшийся воздух, полутьма, повсюду мелькают тени крыс. Клад, доставшийся им, слишком драгоценен, чтобы позволить людям вмешаться в пиршество. Полицейский хлопнул в ладоши, несколько раз топнул ногой – почти без результата. Только те из грызунов, кто был поближе, отбежали на несколько шагов. Остальные и ухом не повели.

Черт с ними, с крысами. Эмиль достал из влажного джутового мешка горсть овса, понюхал. Пахнет плесенью. Поднял голову – с потолка все еще капает, хотя дождь уже больше часа как кончился. Глаза привыкли, и он различил чуть поодаль, за мешками, позеленевший от плесени люк на крышу. Отодвинул засов и толкнул. Жестяной прямоугольник, проскрипев на петлях, плашмя грохнулся на скат. Посмотрел вниз – слегка закружилась голова. Прямо у него над головой

– массивная, черная от копоти балка. Эмиль знал ее назначение: подъемное устройство. С нее спускают канаты, когда втаскивают крупную мебель на второй, третий и четвертый этажи. На конце болтается канат с крюком.

Винге спустился с четвертого этажа, прошел по склону, даже не взглянув на убитого, наклонился над канавой и очень быстро нашел, что искал: грязный дубовый чурбак. Живо представил цепь приведших к трагедии нелепых случайностей и с горечью подумал: как мало надежды, что в один прекрасный день ему удастся найти исчезнувший след Тихо Сетона.

Помахал констеблю.

– Это не убийство. Несчастный случай. Довольно странный, но все же несчастный случай.

Полицейские переглянулись.

– Он сидел вон там. – Винге показал на крыльцо. – Вернулся из кабака или с Баггенсгатан[3 - Квартал публичных домов.], этого мы не узнаем. Решил передохнуть, выкурить трубочку. Может, даже задремал с трубкой в зубах – по крайней мере, во рту полно осколков, а остальные валяются вон там, у крыльца. Зерно на чердаке давно сгнило, на досках дюймовый слой пыли. Краном давным-давно не пользовались. Если спросите хозяйку, наверняка расскажет: да, крыша течет, товар сгнил, постоялец махнул на него рукой. Возможно, даже в суд собирался подать... Короче, вон тот дубовый чурбак сорвался с крюка прямо ему на голову. Петля перетерлась, на нем кровь, можете пойти посмотреть сами. Ночь была ветреная, это я заметил, еще когда спать ложился. Весит чурбак лисфунт[4 - Старинная мера веса: в разных странах от 6 до 8 килограммов.], не меньше. А дальше покатился по склону в канаву. Возможно, человек этот умер сразу, и тело скатилось вниз. Или успел сделать несколько шагов и потерял сознание. Крови немного, сами видите – типично для тупой травмы. Капли крови на ступеньках, на мостовой, в грязи... вы бы и сами заметили, если б не дождь.

Винге показывал то на крыльцо, то на крышу, то на канаву, а констебль кивал и исправно вертел головой.

– Если б не дождь... – повторил он. – Вот это да! Это же... сколько совпадений.

Случайность не признает математической логики, шепнул Сесил.

– Мир не был бы таким странным, если б в нем то и дело не происходили странные вещи.

– А кто виноват?

Безнадежно. Пустое.

Вот как... Сесил уверен: суд ничего не решит.

– Если есть желание, можно попробовать разделить ответственность между купцом и сдатчиком, но это вряд ли куда приведет. Несчастный случай и называется несчастным, потому что его нельзя предвидеть. Если вы расскажете родственникам все как есть, они могут подать в суд, если пожелают.

Констебль потер небритый подбородок.

– Вот как... ну-ну... спасибо за помощь.

Эмиль кивнул, повернулся и пошел домой. Трое полицейских пустились в обсуждение увиденного. Краем глаза заметил, как незнакомый, грустно качая головой, пересыпает в руки знакомого монеты: видно, побились об заклад.

А сам Эмиль никак не мог унять раздражение. В чем его заслуга? Следовал подсказкам на языке, которого не знает ни один человек в мире. В том числе и он, Эмиль Винге. Но, не зная слов, он этот язык понимает.

Люди из Индебету переглянулись.

– У меня аж мурашки по коже...

– Не говори. Если хочешь совершить преступление – лучше дождаться, пока его засунут в сумасшедший дом.

Они никогда не встречались в доме Индебету – из опасений, как бы не заметил случайно появившийся Ульхольм. С Винге он не знаком, но Эмиль настолько похож на брата, что у полицеймейстера никаких сомнений не возникло бы. А Сесил для Ульхольма был чуть ли не олицетворенной Немезидой в сюртуке. Исаку Райнхольду Блуму их сотрудничество с Эмилем Винге стоило многих бессонных ночей, да и днем он наверняка вздрагивал при мысли, что все может открыться.

Вот и сейчас – Блум встряхнулся, чтобы отогнать страхи и заодно согреться, открыл глаза и выпрямился. Ну нет – дать задний ход он не имеет права. Средства, возможно, слегка сомнительные, но цель ясна и благородна.

В квартале между домом Грилля и Жженой Пустошью они давно уже нашли уголок под козырьком крыши. Дождь не опасен, днем их убежище почти никому не заметно. К тому же с подветренной стороны, так что и ветер не страшен. В двух шагах от Индебету, но в таком месте, куда не всякий полицейский решится заглянуть, если, конечно, служба не заставит.

Блум пожал плечами, попытался сообразить: то ли сам пришел слишком рано, то ли Винге опаздывает. Но что делать – надо ждать. Свои карманные часы он нечаянно раздавил, а стрелки на башне Большой церкви почти неразличимы, как ни вглядывайся. Земля уже совсем отмерзла, сошедший снег обнажил мусор, который с осени никто убрать не озаботился. Попрыгал немного – разогнать кровь в замерзших ногах. Ноги не согрелись, зато забрызгал чулки и штаны грязной жижей. Попытался счистить грязь, заметил подходящего Винге и отложил попытки до лучших времен. Поморщился – головная боль после вчерашнего так и не прошла.

– Эмиль... Понимаю, вы с утра на ногах. Юханссон считает уместным вознаградить вас за хорошую работу, а другие предлагают сжечь на костре – на тот случай, если вы на стороне нечистого.

Станный парень, этот Винге. Сходство с Сесилом поразительное... и чем дольше с ним знаком, тем лучше понимаешь – не только портретное. Манера

говорить, двигаться – Исак Блум помнил Сесила с самого начала своей полицейской службы. А иногда приходится прикладывать немалые усилия, чтобы не приписать Эмилю участие в событиях, связанных вовсе не с ним, а с Сесилом. И говорит как Сесил, и руки держит за спиной – вылитый брат. В другие моменты все наоборот: Эмиль напоминает самого себя: вечного студента, полупьяного, робкого. Того Эмиля, который прошлой осенью явился к нему в контору и молот что-то несусветное.

Винге поклонился, встал рядом и сдвинулся чуть вправо – выбрал самое непродуваемое местечко.

– Исак... что нового? У вас все в порядке?

– А вы не слышали? Академия окончила свое существование. Эти идиоты дали Ройтерхольму повод, а Визирь не использовал свой шанс.

– Простите, Исак, я ничего не понял.

– Старик Ферсен, как вы знаете, в прошлом году отдал Богу душу. Седьмое кресло освободилось. На его место выбрали Сильверстольпе. Новый член академии решил подольститься режиму и назвал короля самодержцем. Что тут началось! Его обвинили в оскорблении его величества, а академию заподозрили в революционных взглядах и распустили. Сильверстольпе лишился места при дворе. Секретарская должность Рузенстейна ликвидирована, еле-еле спас шкуру. Теперь он домашний учитель у принца.

– Никогда не думал, что ваше сердце может так обливаться кровью от переживаний за события, которые вас не касаются.

– Не касаются? Это как сказать... Я научился подражать стихам Леопольда так, что он может принимать похвалы в мой адрес на свой счет. Получил в прошлом году два приза академии по двадцать шесть дукатов. Лундбладская премия, тоже в прошедшем году, – пятьдесят риксдалеров, прямо в кошелек. Это все академия, и, скажу я вам, не пустяки для человека, который, как раб, дни напролет торчит в полицейском управлении. А теперь? Еще один собачий год впереди.

Винге похлопал себя по плечам ладонями. Многие годы пьянства оставили следы на его лице – наследство, от которого ему вряд ли удастся избавиться, какой бы трезвый образ жизни он ни вел.

– А что нового в Индебету?

– Шутовство. И зверство. Шутовство и зверство. Режим видит шпионов в каждом прохожем. На днях какого-то итальянского учителя заподозрили в подготовке покушения на герцога. С чего бы? Ну нет, на эту публику резоны не действуют. Ульхольм получил приказ от Экмана: немедленно схватить и выдворить из страны. Дурость, не правда ли? Этого итальянца знает полгорода: добродушный, тихий, мухи не обидит. Но вышло еще глупее. Ульхольм, этот осел, перепутал двери и вломился к соседу, финскому офицеру. Крик, грохот, пинками стащили его в чем мать родила с женщины, руки связали, пинки, удары, шум, плач... Только когда несчастный итальянец сам приоткрыл дверь и спросил, не может ли чем помочь, полицейские сообразили: ошиблись! Пристроили офицера назад на даму – спасибо, дождалась, – вместо него схватили итальянца и на первой же шхуне отправили в Римини. Без суда, без следствия, без доказательств. Кому они нужны, если режим делает все что хочет? Не знаю, получилось ли что у финна с дамой после такой-то встряски. Может, утешится: его решили повесить в ранге. Чтоб не болтал лишнего. Знаете, Винге, добром это не кончится. В народе уже заметно брожение умов.

– Да... – Винге пожал узкими плечами. – Бывает...

Блуму показалось, что собеседник не проявил особого интереса к его рассказу. Он прокашлялся и сменил тему. Раздражение заставило его если не забыть, то задвинуть на второй план то, с чем он пришел.

– Но не всё в миноре, мой друг... – Он начал шарить в кармане пальто и достал два картонных прямоугольника с замысловатыми виньетками. – Нет, нет, далеко не всё... попадают и мажорные нотки. Я приглашаю вас в театр. Мало того, на премьеру! «Смирившийся отец». Карл Линдегрэн имел ошеломительный успех со своей первой пьесой, так что ожидания – сверх всякой меры. Что скажете? Неплохо отвлечься от кровавого гротеска жизни, не так ли? Я вас приглашаю. Билеты в ложу, разумеется, так что никакой толкотни.

Глаза Винге подозрительно сузились.

– Откуда такое внимание? – холодно произнес он. – На вас не похоже, Исак. А я, признаться, не особо интересуюсь театром.

Блум вздохнул и сунул билеты в карман. Винге показалось, что он не слишком разочарован ответом.

– Когда вы явились ко мне, Винге, не могу сказать, что я был в восторге. Думаю, вы понимаете почему. Но вы показали, на что способны. За несколько месяцев вы принесли столько пользы! Даже припомнить не могу все ваши подвиги. Исчезнувшие векселя Руута, труп в запертой спальне. А эта история с убитой женщиной! Все знают: раз женщина убита, кто виноват? Муж, конечно. Несомненно, как «аминь» в церкви. Но вы доказали, что и у правил бывают исключения. Без вас этот несчастный подмастерье болтался бы в петле, а истинный убийца гулял на свободе. А фальшивомонетчики так бы и печатали поддельные ассигнации.

– Полагаю, лезть имеет свои причины. Как и театральный билет.

Блум шутливым жестом поднял руки:

– Капитулирую! Вы, конечно, та еще птица, Винге. Но... если вы захотите, вас ждет в управлении блестящее будущее. Даже Ульхольм не станет протестовать, зная ваши заслуги.

Винге обычно избегал смотреть в глаза, но тут бросил на Блума острый, пронизывающий взгляд. Правда, тут же уставился на свои башмаки и, помедлив, произнес:

– Блум... вы же знаете.

В ожидании ответа Блум задержал дыхание, но на этих словах шумно выдохнул через ноздри.

– Да знаю, знаю... но я бы себе не простил, если б не сделал еще одну попытку.

Винге тяжело вздохнул. Блум только что обратил внимание, насколько у него усталый вид. Но странно: несмотря на усталость и следы пьянства на лице,

Винге выглядел моложе своих лет.

– Каждый раз, когда отец получал известие об очередном успехе Сесила, он праздновал. Ходил по лестнице вверх-вниз, размахивал письмом и торжествовал: «Я же говорил! Именно так надо воспитывать детей! Еще одна ветвь в лавровом венке разума и знаний!» Потом ему на глаза попадался я; за партой, скованный невидимыми цепями подневольного детства. – Винге произнес последние слова с нарочитым пафосом, словно бы иронизировал. На самом деле именно эти призрачные цепи он и имел в виду. – Отец заглядывал через мое плечо, смотрел на каракули и кляксы, на арифметические задачи – я старательно притворялся, что не могу их решить, на вопросы из учебника – я намеренно давал на них неверные ответы... детская жестокость, знаете ли. Я ведь прекрасно знал, как привести его в ярость, спиной чувствовал, как он закипает. И наконец отец не выдерживал, хватал меня за шиворот и, вырвав лист из тетради, начинал тереть мне глаза, пока не начинала идти кровь носом. Потом ему приходило в голову сыграть со мной в шахматы... играл он очень плохо, так что мне иной раз стоило усилий загнать собственного короля в мат. Редкий вечер не кончался трепкой... он порол меня ореховыми прутьями, каждый день срезал свежие – по его мнению, для достижения лучшего эффекта розги должны обладать определенной упругостью. Моя спина была вся в полосах, как у сельского кота.

Настала очередь Блума опустить глаза. Он медленно покивал – показать, как ценит оказанное ему доверие. Он прекрасно догадывался, куда клонит Винге.

– А теперь скажите, Блум: можете ли вы понять, как горят все эти рубцы, когда меня вынуждают влезть в одежды Сесила?

Блум покраснел и повернул голову к ветру – охладить пылающие щеки.

– Вы, должно быть, догадываетесь, почему я задаю этот вопрос.

– Догадываюсь.

– Потому что, как мне кажется, вы выполнили наше условие.

– Да... по крайней мере частично. Вы просили меня узнать происхождение Тихо Сетона. Ответ задержался. Зима, знаете. Жизнь замедляется, сокодвижение в

деревьях и вовсе замирает. Наша почта, разумеется, исправно следует законам природы. Уж не знаю, достоинство ли это. Думаю, в отдельных случаях следовало бы набраться смелости и эти законы нарушать...

Глаза Винге загорелись таким внезапным интересом, что Блум потерял нить поэтического объяснения плохой работы зимней почты.

- И?..

- Старый дорожный паспорт. Первый раз Сетон пересек таможду «Кошачья Задница» в семьдесят девятом году и в том же году отбыл в южные края. Касательно возвращения - неизвестно. Архивы - сплошное болото. Тонуть - тонешь, а выплывешь ли - вопрос. Во всяком случае, ни к одной общине не приписан.

- Так... отбыл в южные края. А откуда прибыл, чтобы в эти края отбыть?

- Написано - Сакнес. Село в уезде Хелльбу, если мне не изменяет географическая память. Это в Бергслагене.

Винге достал часы из кармана и глянул на циферблат - вряд ли можно выказать намерение уйти более красноречиво.

- Погодите... - Блум взял его за рукав. - Должен признаться, что не вполне понимаю, какую пользу вы собираетесь извлечь из этих сведений. Сетон и сейчас в Стокгольме, в этом мы можем быть уверены. Таможни предупреждены. Тем более описать его внешность труда не составляет, имя написано на физиономии.

- Когда вы в последний раз были на таможне, Исак? Не припомню случая, чтобы видел трезвого таможенника. Либо пьян, либо шлепает картами в будке. И уж во всяком случае, не ставит полицейские нужды выше собственных. Я сделал все, что мог, чтобы найти его убежище, - никакого результата. Либо он прячется лучше, чем я могу предположить, либо уехал. Денег у него вряд ли много, если и были, должны кончиться. А куда деться человеку без денег? Только в родные края, в надежде, что прокормят, - кровные связи накладывают определенные обязанности.

– И ради этой соломинки вы решаетесь на путешествие?

– Я уже полгода пою вам одну и ту же песню, Исак: вы его недооцениваете. Не понимаете, на что он способен. Вы никогда не видели превратившегося в растение Эрика Тре Русура с пробитой головой на стуле с дырой в сиденье, не видели запачканную кровью люстру. Не представляете одуряющий аромат выросших на разлагающихся трупах цветов, не видели, как он заставляет несчастного юношу резать ножом живую плоть оглушенной наркотиками женщины. У меня нет сомнений – если мы его не возьмем, будет еще хуже. Если бы я и Жан Мишель могли рассчитывать на серьезную помощь управления... Еще раз прошу вас, Блум: постарайтесь придать этому делу наивысший приоритет.

– Невозможно. – Блум покачал головой. – Вы же знаете, меценаты роились вокруг Хорнсберггета как мухи. И если распространится новость, кто был истинным хозяином детского дома, власть имущие, чтобы отвести от себя подозрения, тут же потребуют принести им на блюде голову Ульхольма. У вас же нет доказательств! Если вы сами его найдете – другое дело. А на розыски никто денег не даст.

– Остается надеяться, что у меня не будет случая напомнить вам о моем предупреждении, Исак. Я знаю, на что он способен. Для него беззащитность – приманка. К тому же у него только один способ вернуть доверие ордена, и подпусти его близко – ужалит, как очковая змея. Пока время есть, я еду.

Блум хмыкнул, зажмурился, развел руками, а когда открыл глаза, Винге уже не было. Он поежился – снова зарядил дождь.

– Черт знает что... – прошептал Блум. – Наваждение. Может, и вправду Призрак Индебету дергает тебя за ниточки и нашептывает слова?

5

Что-то мелькнуло в углу глаза... не более того. Игра света и тени, внезапно возникший мираж. Какое-то движение. Даже не движение – намек на движение.

Эмиль закрыл глаза. В душевном сумраке, где нет других хозяев, кроме него самого, он может сам выбирать смысл и значение галлюцинации.

– Оставь меня. Ты – ничто. Прихоть памяти, навязчивая идея. Пару рюмок – и тебя нет. Утонешь, как слепой котенок в кувшине перегонного. Жаль, цена слишком высока.

В памяти возникает вовсе не тот Сесил, который явился к нему в прошлом году в переулке – разлагающийся труп с застывшей предсмертной гримасой. Нет, это другой Сесил. Тот, кого он запомнил по их последнему свиданию. Блистательный студент, вернувшийся в родительский дом погостить на праздники. В расцвете сил, с открытым на все страны света будущим. Брат, которого он помнит с младенчества, но в то же время чужой человек. И он этого человека совсем не знает.

– Все это твоя работа. Ты – как шанкр, даже смерть не может прервать его гниение. Если бы ты не попросил Жана Мишеля о помощи два года назад, ничего бы и не было. Но как же... тебе нужна была его помощь. Ты нагрузил его сверх меры, он даже после твоей смерти пытается делать то, что намного превосходит его возможности. Ты использовал его, как инструмент, как рычаг, когда тебе не хватало собственных физических сил. А теперь... теперь настала его очередь, и он сделал то же самое. Но он сделал скверный выбор. В чем я могу его обвинить? Разве что в своих собственных ошибках. Он, само собой, хотел только хорошего, но этого мало. Этого мало, Сесил! Наши благие желания обернулись гибелью более чем ста детей.

Порыв холодного ветра с востока недвусмысленно намекнул: жди непогоды. Эмиль вздрогнул и потер озябшие плечи.

– Я еду на север, Сесил. Блум нашел уезд, где родился и вырос Сетон. Не скажу, что знаю, что меня ждет. Если б знал, сказал бы. Но, если удача не отвернется окончательно, какая-то польза, может, и будет. Ничего другого придумать не могу – это раз. А два – Стокгольм у меня как кость в горле. Как ты мог здесь жить – вне моего понимания.

Эмиль оглядел свое имущество и не нашел почти ничего, что стоило бы взять с собой.

И эта девушка... Она исчезла, нигде не появляется, но Жан Мишель места себе не находит. Она не оставляет его в покое. С этим надо как-то кончать, любой ценой.

Он начал паковать кофр. Что-то все-таки надо взять, дорога неблизкая. Совал все подряд – кофр большой.

Ясное дело – что бы он ни говорил, это, несомненно, любовь. Я ему не завидую. Если она, как Кардель говорит, уже оттолкнула его раньше, то с чего бы теперь ей бросаться к нему в объятия? Он и есть главный виновник. А что касается внешности, он и так особой красотой не отличался, а уж после пожара...

Эмиль прервал размышления и тряхнул головой, будто хотел сбросить наваждение, и произнес вслух:

– Ничем я ему не обязан! Какое право он имеет ждать моей помощи? Придет время, и я с чистой совестью сделаю шаг в сторону. Пусть идет своей дорогой и разбирается сам.

В тишине тиканье роскошных часов Сесила казалось оглушительным. Эмиль прекрасно помнил: почти всякий раз, когда логика вступала в противоречие с чувствами, Сесил испытывал затруднение. Это воспоминание почему-то его разозлило. Он вслушался в эхо произнесенной фразы: «...разбирается сам...» – и она показалась ему неубедительной. Посмотрел в зеркало – в очередной раз поразило почти портретное сходство.

– Всю жизнь я хотел быть похожим на тебя, Сесил. И только теперь, когда я понял, чего стоит их восхищение... Шулерство и ложь. Ничего так не хочу, как повернуться к ним спиной, и поскорее. Как только доделаю все, что должен доделать. Я всю жизнь под замком... сначала отец, потом сестра, потом вино, а в итоге – я сам. Я и есть моя тюрьма. Но ты и сам знаешь, ты же у нас ученый: ничто новое не прорастет, пока не расчистишь старое. Вот этим я и занимаюсь. Ничем другим. Я тоже хочу жить, как и все. И чем дальше отсюда, тем лучше. Теперь я понял: не хочу быть, как ты, Сесил. Я хочу оставаться собой, мне плевать, что делают и говорят остальные.

Эмиль наклонился поближе к зеркалу и встретился глазами с братом.

– И ты скоро исчезнешь. Ты привидение, мираж, тебя не существует. Галлюцинация. Когда закончится вся эта история, твоя роль в пьесе окончена. Для меня каждый шаг в этом расследовании – каинов шаг. Но погоди... оставлю Стокгольм, исчезнешь и ты. Я про тебя забуду.

На улице под окном кто-то затянул пьяную песню. Эмиль покрылся гусиной кожей – настолько явственно представилось ему жгучее и ласковое прикосновение перегонного к слизистой глотки, как оно без сопротивления, будто раскаленная стрела, проникает в тело, освещает самые темные уголки сознания и помогает понять: они пусты.

В такие моменты ему особенно тяжело.

Зажмурился и прошептал:

– Я докажу вам, что вы ошибались. И ты, и отец. Я докажу вам, что выбранные вами пути – не единственные. Все будет, как я того захочу.

6

В толпе она видится ему постоянно. Но это не она. Каждый раз не она. А во сне – как живая. Один и тот же сон, поэтому он старается не спать. Зимой было нетрудно: как бы ни ложился, какую бы позу ни принимал – тут же вскакивал от боли. Даже прикосновение одеяла ощущалось как ожог, будто языки пламени опять и опять лижут тело. Он мог только сидеть, и то в строго определенной позе, вынужденной, как сказал Винге. Но теперь волдыри прошли, и ничто больше не удерживает его в бодрствующем состоянии. Кожа кое-как зажила и напоминает оплывшую свечу: на месте бывших ожогов остались грубые рубцы. Еще болезненные при прикосновении, но Кардель не обращает внимания. Невыносимое жжение, что в первые недели облегалo все тело, как плотно сидящее белье, отступило. Осталась только резь в культе, но это не привычная жующая ломота, не ощущение постоянно перемалывающей кости якорной цепи «Ингеборга». Это острая боль, появившаяся в кошмарные секунды, когда он топил Эрика Тре Русура в овечьем корыте. Боль, ни за что не желающая отступать. Он даже вскрикивает иногда, а ведь в свое время молча, сжав зубы, следил, как фельдшер ржавым рашпилем обтачивает острые края отпиленной

КОСТИ.

Но нельзя же вообще не спать... сон все равно выжидает удобный момент и валит борцовским захватом. Опять и опять бежит он по пылающему дому со свертками в руках. Карл и Майя, крошечные нежные тельца. Падает, теряет, вновь бежит с пылающими волосами. Бесполезно – ее дети погибли, и это его вина. Протянутая рука помощи обернулась кошмаром. И тут же появляется она. Раз за разом молит он о прощении, но она будто не понимает язык, на котором он говорит. Молчит. Оглухла от горя. Кардель чувствует свое ничтожество: все, что бы он ни говорил, в ее ушах не более чем досадное жужжание запутавшейся в гардине мухи. Оглушена горем. А может, и вправду не понимает, лишилась рассудка – еще одна жизнь на его совести. Иногда сон заряжает иные капканы, капканы невыносимого стыда. Он просыпается с колотящимся сердцем.

Не помогает ничто: разве что прижать со всей силы культию к острому краю откидной койки, пока не потемнеет в глазах.

Но сегодня ему удалось выйти победителем. Весь день топтал слякоть на улицах города. Скоро вечер, и он опять возобновит поиск. Ему почему-то кажется, она появится в тот самый момент, когда он зайдет перекусить или забежит домой подсушить у печи обувь. В памяти то и дело всплывают слова рыбака: мальчик. Взял за руку и увел в Город между мостами.

Что-то здесь не так.

Не успел натянуть ставшие жесткими, как фанера, башмаки, стук в дверь – почти забытый звук. Он подождал немного: а вдруг ослышался? Может, кто-то стучит в соседнюю дверь? Но нет – стук повторился.

Винге. Стоит и не решается войти.

– Эмиль... вот как. Заходите. Вам повезло, что меня застали. Как раз собрался уходить. Хотя... назвать везением – явный перебор.

Кардель поднял с пола протез – тот самый, почерневший и кое-где обуглившийся от огня. Так и не удосужился заказать новый. С привычной руганью начал прилаживать ремни к культе. Почти никогда не удается сразу – деревяшка выскальзывает, падает на пол, и начинай все сначала.

Винге отвернулся, не решаясь предложить помощь без отдельной просьбы.

– Блуму удалось найти имение Сетона. Если не имение, то, по крайней мере, уезд. Я отправляюсь туда.

Кардель кивнул.

– И все?

– На сегодня все. Покажется в городе, мы его возьмем. Полиция предупреждена, хотя, как бы вам сказать... неофициально. Отдельное спасибо Блуму. Если что-то пронюхают, тут же дадут мне знать. К тому же... если Сетон, против ожиданий, и в самом деле в городе, вряд ли ему так уютно в щели, куда он залег. А кончатся деньги, придется выползть на свет. Голод выкурит.

– Вы, как я вижу, время даром не теряли. Про ваши подвиги много болтают.

– Делал то, что должен. И не более того. – Винге обиженно нахмурился.

Совместная вина – вот что их объединяет. Усиливающееся и ослабевающее, но никогда не исчезающее чувство. Вечное холодное молчание остывшего праха сгоревших детей... Кардель пожал плечами. Лучше бы он этого не делал: ремни соскользнули с культы, и деревяшка опять грохнулась на пол.

– Не хотел вас уколоть. Хотя... что там скрывать – зависть. Хотел бы и в своем деле достичь чего-нибудь хоть близкого, но где там.

– Пока не везет?

Кардель примерился к очередной петле, вдернул ремешок и горестно покачал головой:

– Как под землю провалилась. А может, так оно и есть – под землю. Может, только могилу искать и осталось. Но это ничего не меняет.

Винге рассеяно оглядел каморку:

– Вам что-нибудь нужно? Деньги?

Кардель неприятно хмыкнул:

– Деньги? Ну нет. Денег хватает. Мне много не надо.

Винге не удивился. Или скрыл удивление.

– Что ж... понадоблюсь – ищите Блума. Если поездка что-то даст, найду вас сам. Боюсь, потребуются несколько недель. Вернусь с теплом. – Винге бледно улыбнулся. – Буду всем говорить: вот! Это я принес лето. Если бы не я, так и мерзли бы.

Он пошел к двери, но остановился на пороге. Карделю было ясно: что-то Винге недоговаривает. Но спрашивать не стал.

– Ваши ожоги зажили неплохо... если принять во внимание обстоятельства...

– Я слышал, Сергель собирается ваять второго Геркулеса Фарнезского, – усмехнулся Кардель. – Или какого-то другого Геркулеса, не Фарнезского, хрен его знает. Ищет голых мужиков, натурщиков, как это у них называется. Я там часто прохожу, думаю: неужто не заметят такого красавца? Но нет. Пока не позвали. Глаз у них, что ли, нет.

– Жан Мишель, – решился наконец Винге. – Если позволите: в ваших поисках есть какая-то система? Послушайте, я...

– Хожу по улицам, – резко прервал его Кардель. Присутствие Винге почему-то удваивало муки совести. Он устал от Винге, устал от унижительного ощущения, что ему нужен кто-то с более острым умом, но при этом прекрасно понимал: никакой помощи он не заслужил. – Хожу по улицам, спрашиваю, да все без толку. Описываю и сам понимаю – слишком многие соответствуют. Иногда

заносит черт-те куда... а что у меня за выбор?

– Если бы с нами был Сесил, он бы наверняка посоветовал вам вернуться к исходной точке. Точка и есть точка, из нее можно провести сколько угодно линий. Возвращаться к исходной точке. Раз за разом, если необходимо. Начинать с того, что вы знаете точно. С фактов, не вызывающих сомнений. А потом двигаться дальше.

Кардель уставился на Винге. Тот впервые не отвел глаза.

– Но Сесила же с нами нет, Эмиль. Или как?

7

Пришел май, но весенняя прохлада никак не хочет уступить долгожданному лету. Ночные заморозки в середине апреля оказались последними, больше не повторялись, и все же почти побежденная зима не сдалась. Несколько теплых дней подряд подарили надежду – ну вот, наконец-то! – и тут же зарядил холодный колючий дождь. Для Карделя, да и не только для него, – худшее, что способна подкинуть природа. То же, что глубокая осень. Город между мостами зажат между морем и озером, вечная жертва прихотливых игр и единоборств восточных и западных ветров. Недостаточно холодно, чтобы преодолеть сырость; когда на улице мороз, даже снег, можно хотя бы одеться потеплее, но в такую погоду не помогает ничто. То обрушивается ливень, то часами сеется морозящий ледяной дождь. Влага проникает под одежду, добирается до костного мозга, куртка промокает насквозь, воротник сдавливает шею, как объятия утопленника. Все кругом серо, цвета радуги то ли смешались в один, то ли выжидают где-то в архипелаге. А может, боги погоды решили показать Ройтерхольму убожество и никчемность его бесконечных указов; барону, конечно, обидно, но страдают-то люди. Хмурые, обозленные лица, никто не останавливается поболтать, никто не улыбается. Те, у кого есть возможность, носа на улицу не высовывают. У Карделя такой возможности нет. Неутомимо топчет он насквозь промокшими подметками мостовые города.

Конечно же, он далеко не сразу последовал советам Винге, но, как только до него дошел смысл, что-то произошло. Возможно, армейская привычка к подчинению преодолела неприязнь. Слишком много дней своей молодости он провел под окрики фельдфебелей, поручиков и старших канониров. Теперь ему достаточно зажмуриться, представить себя на скользкой от дождя и морской воды палубе, выпрямиться и вообразить: ничего такого не было. А если и было, то не заслуживает внимания. Быть, как форштевень: горд и несгибаем даже на тонущем корабле. Тот, кто научился стойко сносить удары судьбы, знает, как помогают в таких случаях отборные матерные ругательства.

Вернуться к исходной точке.

На этот раз он идет в Стура Скугган. Большая Тень – лес на окраине города с говорящим названием. Туда, куда она позвала его прошлым летом покараулить детей. День мало чем отличается от других: стада несущихся по небу туч похожи на королевских фискалов, облагающих непосильным налогом нищий, робко и редко пробивающийся солнечный свет.

Он идет на север, пока встречный ветер не доносит до него затхлый запах Болота. Дальше – направо. Несколько скучных коров пасутся у Бруннсвикена. Нищий протянул шапку – в глазах вспыхнула короткая и тут же угасшая надежда. Шлагбаум. Ему не надо показывать никакие пропуска: мундир пальта – сам по себе пропуск. Короткий коллегияльный кивок – проходи. Рядом здание таможни, если его можно так назвать: невзрачный одноэтажный дом, крытый потрескавшейся черепицей. По обе стороны забор, на который, похоже, никто не обращает внимания: доски картинно выломаны. Безмолвное приглашение любому пешеходу, кто пожелает посетить город инкогнито. Но можно не сомневаться: в самом недалеком будущем кто-то попробует въехать и на коляске.

Лес за канавой открывается не сразу: сначала надо форсировать баррикаду густого кустарника – для голоногих наверняка обернется исцарапанными голенями. И только через несколько саженей – галерея стволов, куда ни глянь. Под кронами дубов такая густая тень, что почти ничего не растет. Бронзовые кольчуги сосен. В последний раз был здесь зимой, но никаких признаков людей не обнаружил.

И уж тем более той, кого ищет. Никаких признаков, что Анна Стина хоть раз возвращалась в свою землянку. Он не раз приходил сюда, когда еще не сошел снег. Лучшее доказательство – ни одного следа, кроме лисьих. И еще какой-то мелкой лесной нечисти.

Сориентироваться не так легко. Лес – живое существо, он постоянно меняется, и если не приметил какой-нибудь валун, или необычный холмик, или полянку – считай, заблудился. Снег сошел. Вот пара вырванных с корнями дубов – мартовский шторм постарался. Земля покрыта мокрой прошлогодней листвой и полусгнившими желудями. Дубы просыпаются поздно. Новые листочки уже проклюнулись, но бессильно свисают, будто не знают, как себя вести, как отличить весенние холод и сырость от осенних.

Отличат в конце концов... от земли, несмотря на холод, поднимается тяжелый сытный пар. Все, что нарождается и растет, находит пищу в уже отмершем.

Кардель плутал довольно долго, пока звериная тропа не вывела его на нужное место.

Землянка выглядела по-другому. Здесь явно кто-то побывал. Ветки, из которых была сплетена подобие двери, сломаны и разбросаны. Явно не зверь – дело рук человека. На раскисшей земле полно следов. Кардель прекрасно помнил уроки Сесила: ничего не трогать. Ничего не трогайте, Жан Мишель, пока не придете хоть к каким-то выводам. Присел на пенек. Сердце забило: самые четкие следы оставлены совсем недавно. Маленькие, наверняка женские, слишком глубоки для детских. Когда в последний раз шел по-настоящему сильный дождь? Не такая поганая морось, как нынче? Вчера? Позавчера? Нет – именно вчера. Следы оставлены позже – иначе края были бы размыты.

Камни сложены полукругом: некое подобие печи. Под отломанной еловой лапой тайник. Завернутая в грязную тряпку мятая сковорода, древний чугунный сковородник с деревянной ручкой, еще какие-то хозяйственные мелочи. Сколько пролежал здесь этот сверток – сказать трудно.

Кардель пошел по следу. Иногда отпечатки исчезали – тогда он прикидывал, куда бы пошел сам, и выбирал именно этот путь. И почти каждый раз оказывался

прав: следы появлялись вновь. Ошибся только один раз. Пришлось вернуться, и вторая попытка оказалась удачнее: следы возобновились.

Лес внезапно расступился, он вышел на луг, густо покрытый тонкими былинками рыжей прошлогодней травы. Как только сошел снег, трава упрямо поднялась во весь свой немалый, не меньше локтя, рост. И почти сразу он увидел спину. Поначалу решил – косуля. Вглядывалась, согнувшись, в какое-то пятно на земле. Плечи завернуты в давно потерявшее цвет одеяло.

Не надо было так долго стоять на месте. Она его заметила. Будто почувствовала на себе взгляд, оглянулась и бросилась бежать.

Кардель тихо выругался и пустился в погоню.

С таким же успехом он мог погнаться за лесовичкой. Тут же исчезла.

Пробежал еще несколько саженой и остановился. Перевести дыхание и сообразить: куда же она делась? А дальше что? Стоять и ждать, пока не выдаст хрустнувший под ногой сучок или отогнутая и спружинившая ветка?

Ну нет. Бросился в чащу.

Ветки больно, как розги, хлестали по шее, но он не обращал внимания, только глаза прикрыл деревянным протезом. Но где там... очень скоро он осознал: не догнать. Остановился перевести дыхание и вслушался. Звуки шагов слышны, но в другом месте. Вытер пот со лба – и тут же вспомнил узелок под камнем у очага.

Направление он с облегчением вспомнил: все время в гору. Значит, теперь надо возвращаться – бежать под уклон.

Задыхаясь, Кардель влетел на полянку и остановился как вкопанный. А если появились новые следы? Не затоптать бы. Пышная еловая лапа у очага на месте. Значит, он ее опередил. Дождался, когда стихнут тяжелые удары крови в ушах и прислушался – ничего. Только тихий, неумолчный шум леса. Может, ошибся? Узелок не ее, а еще чей-то? А может, решила пожертвовать своим имуществом,

лишь бы не встретиться с преследующим ее чудовищем?

Подошел к землянке и прислушался.

Весенний ручей журчит слишком тихо, чтобы скрыть ее запаленное дыхание.

Стоит настолько прямо, насколько позволяет низкий потолок ее убежища. Прижалась спиной к бугристой земляной стене. Выставила перед собой нож – настолько маленький и зазубренный, что вряд ли заслужил право называться оружием. Как только увидела, что ее тайник обнаружен, размотала и сбросила закрывающую голову дырявую шаль. В землянке темно, Карделю не сразу удалось приноровиться к обманчивым теням – и плечи опустились от разочарования.

Не она. Из-под спутанных волос, через лоб и на ввалившуюся щеку – огненная молния родимого пятна. Пересекает бровь, отчего взгляд ярко-голубого глаза кажется особенно пронзительным, почти пугающим. Не зная, что перевешивает – разочарование или облегчение, – Кардель присел на бревно и вытянул нестерпимо гудящие ноги.

– Выходи. Я принял тебя за другую. Клянусь – ничего плохого тебе не сделаю. Даю слово.

– Слово он дает! Если б я верила словам, меня давно уж и на свете-то не было бы.

– Микель Кардель. Это имя мое – Кардель. Микель.

Одну за другой оторвал отяжелевшие ноги и повернулся спиной.

– Только не тычь меня в спину своей шпилькой. Если хочешь, можешь идти на все четыре стороны.

Закрыв глаза и начал медленно называть цифры, обозначающие то ли секунды, то ли другие, более весомые отрезки времени. А когда открыл и обернулся, увидел: она все еще стоит у входа в землянку. Руку с ножом опустила.

- Ты все еще здесь?

- Надо забрать вещи. А ты расселся на дороге.

После выматывающей погони ему даже повернуться трудно. Отвратительное ощущение застывающего под рубахой пота, во рту – привкус крови после заполошного бега.

- Большое дело. Обойди. Обогни то есть. – И опять закрыл глаза.

Услышал шаги и посмотрел – девушка присела на другой конец бревна. Выбрала место на самом краю – легче улизнуть в случае чего.

- Меня-то прижгли еще у матери в брюхе. Но ты, как погляжу, тоже Красному самцу приглянулся.

- Поговаривают, он любит тех, кто попригожее. Красный самец то есть. А со мной... взялся было за дело, пригляделся – ой, думает, мама дорогая, с кем связался! И только пятки засверкали. Такая победа гроша не стоит.

- И со мной, наверное, тоже так.

Кардель принял эти слова как приглашение: полюбуйся-ка на меня, я ничем не лучше. Ну нет. Она не права. Тонкие черты лица, точеный нос. Высокие скулы. Глаза посажены чуть косо, как у народов по ту сторону Балтики, но акцента ни малейшего. Красная метка – да, конечно, портит лицо, но ее быстро перестаешь замечать.

- Не то чтобы я... подбодрить хочу, но знаешь... если бы не метка, тебе бы жизни не было. Бездомная девчушка, кто тебя защитит? Первый же и повалит.

Она некоторое время обдумывала его слова, потом решила сменить тему:

- Я уже слышала твое имя.

– Да? Странно... В городе-то меня кое-кто, может, и знает, но чтобы за таможней
– в первый раз.

– Она иногда во сне шептала.

У Карделя перехватило дыхание, будто кто-то набросил на шею удавку. Или ударил под дых. Поблагодарил Бога, что можно сразу не отвечать и не спрашивать: девушка начала возиться в своей торбе.

– Табаку хочешь? У меня есть малость. Глядишь, выменяю на что-нибудь повеселее.

Кардель уже имел представление об ее имуществе. Хотел было отказаться, но сообразил, что отказ означал бы недооценку неслыханной щедрости. Высшая степень невежества.

Она протянула матерчатый кисет. Рука худая, как ветка без листьев. Постарался взять совсем чуть-чуть – только чтоб не обидеть отказом. Давно пересохший табак крупной резки, крошится в руке. Сунул за щеку.

– Значит, ты мое имя знаешь. А я твое – нет.

– Лиза.

– Очень приятно.

Почему-то трудно говорить. Язык не поворачивается. Страшно выбрать не те слова, сорвать наступившее перемирие. Не он, а она нарушила молчание:

– Карл и Майя... они ведь мертвы, да?

Лучше бы всадила свой игрушечный нож. Он коротко кивнул.

– Я всю зиму плакала. Как вспомню – плачу. Я на своих картах нагадала, но... чтобы детскую смерть предсказать – и гадалкой быть не надо.

Исповедь рвалась наружу с силой ядра, когда кардус[5 - Пороховой заряд.] уже подпален канониром.

- Моя вина, моя, моя вина, - хрипло и медленно произнес он.

- Одно ведро на коромысле не носят, - сказала Лиза, отвернувшись. - Не только твоя. Я их первая предала. Нужна была им, как никогда... а вместо того собрала шмотки и исчезла. Ночью, чтобы удерживать не стали. Я ж их крестная мать, чтоб ты знал... лучше никого не нашлось. Это мою рубаху разорвали на пеленки... Они увидели свет здесь... вон там, ниже по холму, возле валуна.

Ее мучит тот же стыд, что и его, но она несет этот груз куда более достойно. Да, глаза покраснели от бессонных ночей с постоянно являющимися привидениями, но голос спокойный, ни одной плаксивой нотки.

- А ты знаешь, где ее искать?

- Знал бы, меня б тут не было. Я и зимой приходил. А сейчас опять... вдруг какие следы найдутся. А ты? Хоть предполагаешь, где она может быть?

Лиза показала на разбросанные прутья, изображавшие когда-то дверь в землянку:

- Не знаю, она ли... Но кто-то сюда приходил. Думаю, за тем же - ее искать. - Впервые в ее голосе он уловил нотку сомнения.

- А зачем?

Вопрос повис в воздухе. Лиза выждала несколько секунд.

- А ты зачем? Ты-то зачем ее ищешь?

Что на это ответить? Нечего. Внезапно она поймала его взгляд и уставилась так, что Кардель хотел отвести глаза, но не смог. Шея не поворачивалась. Кровь бросилась в лицо, загорелись уши. И только когда она отвернулась, смог пошевелиться. Вот это да... колдунья, что ли?

– Она говорила во сне, думаю, строила какие-то планы. И называла еще одно имя, не твое. Какое-то необычное, иностранное, должно быть... – И начала вспоминать, переставлять буквы так и эдак.

Кардель, глядя на нее, тоже начал заглядывать в уголки троянской крепости памяти, вороша события двухлетней давности. Анна Стина Кнапп, Прядильный дом, «Мартышка», Кристофер Бликс на льду залива, его неотосланные письма мертвой сестре. Окрашенная кровью улыбка Сесила Винге в «Гамбурге».

Нет. Пора признать поражение. Чувство, похожее на другое, хорошо знакомое: начинает болеть и чесаться рука, которой нет.

Внезапно подул резкий ледяной ветер. К озеру понеслись подпрыгивающие стада опавших листьев. Посидели немного, но ветер не унимался. В конце концов и они уступили борею.

8

Дорога не так уж длинна, если считать в локтях и саженьях. Можно мерить и по-иному. Вроде бы недалеко, но как посмотреть. С плохо скрытым раздражением Магнус Ульхольм перебежал Дворцовый взвоз и прошел через арку на огромный внутренний двор. Не успел он в начале прошлого года заступить на должность и начать обживать дом Индебету, сразу почувствовал царящий там дух неустойчивости и временности. Полиция для власти всегда была чем-то вроде падчерицы. Но и дворец мало чем отличался. Модель всего королевства: угасшее величие. Упадок, растерянность, глупость и несообразность, воплощенные в граните и мраморе и застывшие в виде огромного каменного параллелепипеда с бесконечными залами, переходами и коридорами, будто прорытыми жуками-древоточцами. Многочисленная челядь, у которой, как кажется, и других обязанностей нет, кроме как из года в год следить, чтобы коридоры эти использовались в строгом соответствии с рангом проходящих и принятыми правилами.

Каждый раз, приходя во дворец, он блуждал, словно в лабиринте, хотя изо всех сил и не раз старался запомнить расположение многочисленных служб. Готов был поклясться – все эти помещения от месяца к месяцу менялись местами.

Камергер с презрительной миной проводил его до дверей нужной конторы. Еле сдержав ярость, полицеймейстер сухо кивнул, постучал и, открыв дверь, с облегчением увидел именно того, кого искал: за столом сидел Юхан Эрик Эдман. Краем уха услышал, как подальше по коридору монотонно диктует секретарю министр юстиции Луде, и тут же отметил, что и там обнаружили его присутствие: дверь поспешно захлопнули.

- Юхан Эрик... как дела?

Эдман развел руками над заваленным бумагами столом.

- Кончаем с густавианцами. С последними. Граф Руут предстанет перед судом еще до конца месяца. По обвинению в растрате.

- И в самом деле что-то растратил?

Эдман добродушно рассмеялся. От этого смеха у Ульхольма побежали мурашки по коже.

- А какое это имеет значение? Тот, кто ставит подобные вопросы, ничего не смыслит в приоритетах. Но он и вправду сильно облегчил нам задачу: то ли потерял, то ли не смог найти счета нашего усопшего... святейшего монарха. А если нет расписок, поди докажи, что ты не отправил золото в собственный карман. Если не сможет выплатить, будет сидеть в крепости. А даже если сможет - уже сломан. А у тебя что?

Приподнятая бровь Эдмана заставила Ульхольма поторопиться. Он достал из кармана сложенное вдвое письмо, положил на кучу бумаг на столе и присел на стул для случайных посетителей.

- Деша от Дюлитца. Принес один из его подручных, весь в поту. Прикормленный палът видел девицу Кнапп.

Эдман начал было читать письмо, но быстро потерял терпение.

- Почему он ее не схватил на месте?

- Парня еще при Уттисмальме ткнули штыком в колено. Он мало за кем способен угнаться. Зато любовался на нее довольно долго в театре и даже нарисовал портрет углем. И ее, и какого-то мальчишки, который с ней был.

- И что дальше?

- Дюлитц далеко не дурак. Он сразу поставил людей у всех мостов. Ясно одно: Кнапп в городе. Я велел размножить рисунки. Начнем все сначала.

Эдман поднялся с кресла и подошел к высоченному окну. Посмотрел на конюшни на острове Святого Духа, на Стрёммен[б - Пролив между Балтийским морем и озером Меларен, из-за перепада высот перегороженный шлюзом.], все еще не признавший безнадежность весеннего штурма опор недостроенного моста.

- Будем надеяться, что письмо Руденшёльд по-прежнему у нее... Готов сожрать собственные сапоги, если там не найдется имя графа Руута. Судебная волокита сократится на много недель, а его сообщники попадут за решетку без досадных промедлений. Густавианский заговор можно разгромить за одну ночь.

В дверь постучали. На пороге появился слуга.

- Прошу прощения, но господин Эдман повелел, чтобы я незамедлительно сообщал о важных событиях. Говорят, весь Копенгаген в огне.

9

С одного постоянного двора на другой – все его путешествие укладывается в это короткое описание. На выезде из города коляска катила по широким, мощеным трактам, два экипажа разъезжаются без труда. Но чем дальше в глубь страны, тем ужже дороги. Уже и хуже. Разбитая тяжелыми колесами и копытами колея в раскисшей глине. Если попадетсЯ хоть раз в час отмечающий каждую милю[7 - Шведская миля – 10 километров.] придорожный камень с намалеванной цифрой – считай, повезло. Кучера это нисколько не раздражало: он никуда не торопился и напевал что-то под нос, стараясь, не всегда, впрочем, удачно, попасть в такт шагу своей лошадки.

Изредка попадались встречные экипажи. Тут же начинались ругань и споры – кому уступить дорогу, сдавать назад или съезжать в чавкающую грязь по обочинам. Винге пребывал в несколько меланхолическом расположении духа, чего не скажешь о его попутчиках. Те ввязывались в каждую ссору, предлагали свои способы разъезда, отчего продвижение замедлялось дополнительно. В конце концов кое-как, задев друг друга осями, разъезжались. Эмилю ничего не оставалось, как молча наблюдать за этими баталиями и поплотнее заворачиваться в свое пальто. На рыбьем меху, как говорит Кардель. Ему еще повезло: коляска попала крытая, дождь не страшен, а от пронизывающего ветра можно защититься, пристегнув на окно специально выкроенный прямоугольник ветхой кожи.

Первую ночь он провел на придорожном постоялом дворе на полпути к Упсале. А дальше начались трудности. Выправленное Блумом дорожное удостоверение давало право на бесплатный ночлег, но чем дальше от Стокгольма, тем яснее он понимал: длинные руки закона намного короче, чем можно было бы ожидать. Хозяева постоялых дворов качали головой – у них оказывалось множество давно отрететированных пояснений, почему постоялец должен платить. Кто-то скромно выказывал подозрения, что бумаги, возможно, фальшивые, что без подписи уездного исправника они недействительны. Другие привычно ссылались на неграмотность – а уж против такого аргумента и вовсе нечего возразить, особенно если говорят с добродушнейшим и даже несколько виноватым видом. Раз за разом Винге ставили перед выбором: выкладывать монеты или ночевать на сеновале. Как-то раз он ради принципа выбрал сеновал, но уже к полуночи было очевидно: битва проиграна. К тому же Эмиль в душе понимал трактирщиков: вряд ли его внешность внушает им доверие. Чересчур экзотична для полицейского.

С каждым днем он продвигался все дальше на север. От уезда к уезду, от постоялого двора к постоялому двору. Часто не находилось лошадей. За ними посылали на ближайшие хутора, и упрямые фермеры после долгих уговоров выделяли за приличную плату измочаленных непосильной работой одров. Винге уже привык ждать часами. Прислониться к печи и ждать. Обмуровка еле теплая – дрова подкидывают регулярно, но очень скупо. Могли бы класть и поменьше, но не позволяет стыд.

Коляски чаще открытые, то и дело приходилось самому садиться в корявое деревенское седло, увешанное к тому же торбами и пакетами. Очень страшно. Он никогда не ездил верхом и никогда не предполагал, что лошади такие высоченные – если сверзиться, пиши пропало. Шею сломать – пара пустяков. Тем более что неторопливый, с помахиванием головой лошадиный шаг – как пение сирен. Если подчиниться этому убаюкивающему ритму и задремать – свалишься наверняка.

Он прибыл в чужую страну. Совершенно чужую, хотя язык почти тот же. Не совсем, но почти. Здесь люди пустили корни раз и навсегда. Живут и умирают на том же клочке земли, поэтому на путешественников смотрят с неодобрительным подозрением. Не могут понять – что это им на месте не сидится? Наверняка безбожники и распутники. Но от денег не отказываются. Он называет свое имя – они пожимают плечами. Разве это имя? Пустой, ничего не значащий звук, сотрясение воздуха. Имя, никак не связанное ни с местом, ни с каким-то известным им родом. Он здесь чужак. Подозрительный чужак. Здесь край поверий, край, населенный лешими, лесовичками и хульдрами[8 - Сказочное, очень скрытное существо, женщина с коровьим хвостом; персонаж скандинавского фольклора.]. Край болотных огней и говорящих филинов, а уж с ними-то встреча и вовсе ничего хорошего не сулит. Здесь кладут на порог чугунную чушку – чтобы крепко спать. Под подушку суют катехизис – отпугнуть троллей.

Все это поначалу пугало Эмиля, но ведь почти невозможно полностью отгородиться от окружающего. А лес вокруг и вправду темен и бесконечен. Даже солнце в зените не в силах разогнать царящий в нем вечный мрак. А по ночам лес поет. Наполняется таинственными стонами и воплями. Происхождение их он, как ни силится, определить не может. То ли лисы, то ли косули. А может, росوماхи или другие, неизвестные науке звери.

Быть проводником – задача нелегкая. Калеки, дети слишком слабы для такой работы. Разве что в паре. Чтобы проехать по угодьям, приходилось постоянно открывать и закрывать тяжелые ворота. Иногда и самому надо прыгивать с коляски и снимать неподъемные засовы. Если встречаются вспаханные поля, тут уж выбора нет, кроме длинных извилистых объездов – результат постоянных распрей хуторян. К тому же то и дело на дороге валяются камни – нелегкое испытание для подков и деревянных колес. Земля еще не впитала весенний

паводок. Если повезет – кто-то успел перебросить через огромные лужи скользкие сосновые стволы, а так – делать нечего, надо искать брод.

Большой кусок пришлось идти пешком. Лошадей не нашлось. Дело было утром, до темноты далеко, весь день впереди, но он скоро пожалел о своем решении. Дождливая весна и еще не сошедшие талые воды превратили дорогу в играющую в догонялки стайку журчащих ручейков. Каждая попытка обогнуть сопряжена с риском поскользнуться и грохнуться в жидкую грязь. На хуторах люди звали друг друга полюбоваться на редкое зрелище. С нескрываемым злорадством наблюдали за необычным канатоходцем, подбадривали насмешливыми выкриками и даже принимались аплодировать, когда ему удавался особо виртуозный пируэт. В конце концов Винге надоело доставлять им удовольствие, и он двинулся напрямую. Уже через пару саженей панталоны промокли выше коленей.

По обе стороны так называемого проселка – полусгнившие заборы. Стоят по пояс в воде, как мачты затопленных кораблей. Время бежит быстро. Когда Эмиль добрался до более или менее сухого холмика в лесу, было уже далеко за полдень, солнце начало свой путь к закату – необычно торопливый. Тревога не понимает хода времени, для истинной тревоги время не движется, стоит на месте, поэтому Винге засомневался в показаниях карманных часов. Тех самых, когда-то принадлежащих Сесилу, – Бьюрлинга. Внезапно его охватил страх – не привычный, а иной: давно, возможно с младенчества, забытый страх. В обществе он научился справляться с приступами беспокойства, научился уговаривать себя – повод надуманный, тревожиться нечего, все обойдется... но тут-то совсем другое дело! Лес дик и беспощаден, и с каждым шагом надвигающейся тьмы растет понимание его, леса, доисторической, равнодушной к человеческим резонам опасной сущности. Он, лес, не замечает человека, а если и замечает, то как одну из пешек в вечном сражении жизни и смерти. Смерть одного обитателя леса – возможность жизни другого, только и всего.

Глупости. Не делай из себя посмешище.

Опять Сесил. Но в голосе нет обычной непререкаемости, похоже, сам не уверен в своих словах. В не столько опускающихся, сколько быстро поднимающихся от влажной земли сумерках становится труднее различать тропу. Быстро темнеет еще недавно огненно-оранжевая грубая кора сосен, все больше напоминает бронзовые рыцарские доспехи. В просветах между ними то и дело опасно

блеснет болото, как черная рана в теле покрытой рыжей прошлогодней хвоей и призрачной зеленью мха земли. Если заблудиться – конец.

Мысль о возможной ночевке в лесу заставляет прибавить шаг, а потом и перейти на бег.

Сначала Эмиль почувствовал запах дыма и только потом увидел хижину. Ее тоже не пощадил вездесущий мох. Окна между балками фахверка заколочены досками. Чуть поодаль – сарай и конюшня. Все же бывают в этом мире и удачи. Можно высушить одежду, согреться. Тревога еще не прошла, но теперь он вооружился терпением и пониманием: упаси Бог от таких походов. Главная доблесть – терпение. Дождаться лошадей, проводника, сторговаться о плате. Завтра его ждет тощий, как былинка, паренек, и они двинутся в путь как можно раньше. Ему предстоит еще немало таких походов.

10

Какой-то шум на нижнем этаже. Шум, тут же отозвавшийся взрывом памяти.

Польша, детство, преследования, погромы, необходимость постоянно скрываться. В короткие секунды между сном и явью Дюлитц вновь чувствует себя ребенком, завернутым во влажную простыню, с колотящимся от ужаса сердцем. Но и медленно возвращающееся сознание ничего хорошего не сулит. Старееющее тело тоже дает о себе знать. Пока работает более или менее исправно, но жалобы предъявляет все чаще. Если раньше любая болячка не вызывала никаких чувств, кроме «а, ерунда, пройдет», то теперь все по-иному: «А вдруг не пройдет? А вдруг навсегда?» Шею во сне запирает так, что трудно повернуть голову, спина разгибается все хуже.

Шум переместился на улицу. Потирая затекшую руку, дохромал до окна – как раз вовремя, чтобы увидеть Оттоссона – тот бежал вверх по взвозу такими прыжками, что каждый из них мог закончиться сальто-мортале. Дюлитц успел заметить: слуга зажимает рукой окровавленный нос. Он мысленно перебрал перерасчеты и деловые конфликты – интересно, который из них мог повести к

столь драматическим последствиям. Кряхтя, накинул поверх ночной рубашки халат, отодвинул засов и приоткрыл дверь. И первое, что услышал, – стоны Эрлинга, своего слуги.

Дело серьезное. Потер тыльной стороной ладони глаза, вычистил карикатурные остатки сна и начал спускаться по лестнице. Рассвет набирает силу, самые усердные уже спешат на работу.

Эрлинг лежит у стены, съезжившись настолько, насколько может съежиться здоровенный мужик. Чуть ли не в позе плода. Прижимает к груди странно согнутую, по-видимому, сломанную или вывихнутую руку. Дышит с присвистом. Стол перевернут, причем довольно странно: на торцевую сторону. На обоях потеки чернил. Стулья разбросаны по стенам – все, кроме одного. И на нем, как на троне, торжественно восседает победитель.

– Жан Мишель Кардель. Должен признаться – помучился, пока вспомнил вашу фамилию. Но все же вспомнил – и вот он я.

Дышит с трудом, со лба стекает пот. Дюлитц ощутил слабое удовлетворение: все же его верные слуги без борьбы не сдались, не дали себя унижить окончательно.

– Ваше имя... – Дюлитц приложил все силы, чтобы выглядеть спокойным. – Мне кажется, я от кого-то его слышал.

– От Анны Стины Кнапп. Или Бликс, уж не знаю, как она представилась.

Незванный гость поднял руку и показал на один из упавших стульев. Дюлитц поднял один, хотел было сесть и тут же обрадовался, что не сел: ножка подломилась сама по себе. Стул рухнул на пол. Со вторым повезло больше. Он сел и вгляделся. Постепенно проявились черты сидящего против света взломщика. Обгоревшие волосы, лицо даже лицом назвать трудно – сплошные шрамы и бугры. Дюлитца даже передернуло – представил себе страдания, оставившие подобные следы.

– Вы позволите моему слуге нас покинуть, чтобы поговорить без помех? Не беспокойтесь: была бы возможность вызвать подкрепление, Оттоссон уже нашел

бы способ. А сам я стар и сопротивления вам оказать не могу.

Гость пробурчал что-то невнятное. Дюлитц предпочел истолковать это бурчание как согласие и кивнул Эрлингу. Тот не заставил повторять – переполз через порог и исчез. Дюлитц использовал эти несколько мгновений, чтобы привести в порядок разбегающиеся мысли и взвесить свои козыри в переговорах.

– Значит, вам угодно повидаться с этой девушкой... а знаете ли вы, что не у вас одного такое желание?

Гостю понадобилась пара секунд, чтобы скрыть удивление, – вполне достаточно для Дюлитца. Что-что, а мысли читать он умел.

– Осенью прошлого года мне нанес визит не кто иной, как полицеймейстер, собственной персоной. Да еще в сопровождении не кого-нибудь, а самого Юхана Эрика Эдмана. И знаете, какова был цель их визита? Та же, что и у вас.

– Давайте-ка с самого начала. Я не настолько... вернее, я настолько же умен, насколько хорош собой. Не Декарт, одним словом.

– Кристофер Бликс... имя знакомо?

– Знакомо.

– Так вот... эта девушка, про которую вы спрашиваете, обратилась ко мне, потому что нуждалась в деньгах. Вернее, женщина. Вдова того самого Кристофера, если верить ее словам. Единственный товар, что она могла предложить, – свою незаурядную гибкость. Два года назад ей удалось бежать из Прядильного дома на Лонгхольмене. Через подземный туннель для паводковых вод, про который забыли и строители, и хозяева. Такой узкий... змея не проползет. Ну, змея, положим, проползет, но человек – представить трудно. И надо же такому случиться: в прошлом году в Прядильный дом поместили знаменитую узницу – всего на несколько дней, пока золотили другую клетку. По заказу одного из моих клиентов я дал вашей знакомой задание: тем же путем проникнуть в Прядильный дом. И, представьте, она это сделала. Ночью, в новолуние, под защитой темноты...

Человек напротив поднял левую руку, и Дюлитц осекся. Он впервые заметил, что огромный кулак черен, как уголь, с коралловыми следами крови его слуг. А пальцев и вовсе нет. Человек ли это?

– А дальше? Вы послали ее в Прядильный дом, это я понял. В Прядильный дом...
А дальше? Дальше что?

– Думаете, я не понимаю, как ужасно это звучит? Но вы ошибаетесь. Поверьте, я не хотел ей зла. Большинство моих клиентов приходят ко мне сами, когда наделают кучу глупостей, в которых сами и повинны. Между прочим, и ее бывший муж тоже из таких. Но она пришла сама и попросила о помощи. Двести риксдалеров, чтобы спасти своих детей. За такие деньги многие мои работодатели покупают чесалки для спины из слоновой кости. А этот был готов заплатить и вдвое, и втрое, а может, и больше. Я предложил провести от ее имени переговоры с заказчиком, увеличить сумму, но она отказалась. Представьте: она отказалась!

– А сколько из этих денег вы собирались оставить себе?

Дюлитц решил говорить правду. Возможно, искренность хотя бы частично уравнивает презрение, которое звучит в каждом слове этого получеловека.

– Десятую часть. Обычно я беру половину, а то и больше.

– И, значит, вы полагаете, она так и лежит там, под стеной? Застряла и умерла?

– Нет. – Дюлитц затряс головой. – Нет.

– Откуда вам знать?

– Мы нашли пальта, который рассказал, как было дело. В Прядильном доме, я хочу сказать, – неохотно пояснил Дюлитц. – Стоило большого труда заставить его сообразить, что наше недовольство намного опаснее гнева надсмотрщика Петтерссона, которого он боится, как огня. Ее схватили на утренней поверке. Петтерссон занимался ею сам. Говорил довольно долго, а потом сам проводил к проходной и выпустил на волю. Тот же пальт поклялся, что узнает ее даже ночью. Что мы и попросили его сделать – быть начеку. И он клянется, что видел

ее после этого. Правда, всего один раз. Ее спутник, мальчишка, заметил его и увел так быстро, что наш пальт и глазом не успел моргнуть.

– Когда? Где?

– Вам и в голову не придет. В театре! На премьере «Смирившегося отца» Линдегрена, если вы, конечно, следите за театральным сезоном. Он видел ее в толпе в партере.

Урод задумался. Глаза забегали. Он начал грызть ногти, сплевывая отгрызенные чешуйки прямо на пол.

Дюлитц решил воспользоваться моментом.

– Представьте – у меня в кармане стилет. Дамасская сталь, перламутровая рукоять. Он лежит там постоянно. Для безопасности. Мои занятия связаны, знаете ли... с определенным риском. Мой девиз вот какой: надо иметь оружие, но не надо им пользоваться. Стилет небольшой, но, заверяю вас, весьма острый. Может, я и не такой достойный соперник – старческой слабости пока никто не отменил, но мальчиком я весьма недурно владел кинжалом. Так что кое-какой вред нанести могу. Может, и скромный, но достаточный, чтобы отложить ваши поиски... задача, которую, как сказано, пытается решить еще кое-кто. И очень легко может вас опередить.

– И?..

– У меня есть кое-какие соображения насчет того, что именно могло произойти. Возможно, они вам пригодятся. И я охотно ими поделюсь, особенно если после этого вы окажете старику уважение и оставите меня одного. Мне надо позаботиться о приборке после вашего... э-э-э... визита.

Гость промолчал. Дюлитц принял его молчание за знак согласия. Пригнулся и заговорил шепотом, словно желая подчеркнуть важность и абсолютную секретность сообщаемых сведений:

– Девушку я послал за секретным посланием Магдалены Руденшёльд. Деша своего рода, адресованная заговорщикам, сторонникам Армфельта. А возможно,

она так и не сумела проникнуть в камеру Магдалены. Возможно, письмо она все же получила и потом каким-то образом лишилась его – ни та, ни другая стороны с таким риском смириться не могут. Ни заговорщики, ни подручные Ройтерхольма. Все, сбившись с ног, ищут эту бумажку. И я их понимаю – заложённая под королевство пороховая бочка. Каждую неделю – новые слухи о готовящемся покушении на герцога. Заговорщики мечтают убрать его с дороги, и не только его – и Ройтерхольма, и весь опекунский совет. Сеть раскинута как на салаку, ячея – мельче не бывает. Большая загадка – как девушке удастся в эту сеть не попасться. А есть загадка еще загадочней: почему она не найдет способ назначить цену? Ведь может, поверьте, назвать любую сумму. Наверняка сообразила – она отнюдь не глупа. Боюсь, с ней что-то случилось.

Последнее предположение Дюлитца испугало Карделя куда больше, чем угроза пустить в ход кинжал. И жажда мести словно испарилась – все, чего можно было достичь в это утро, уже достигнуто. Он встал и вытер окровавленный деревянный кулак о гобелен на стене. На пастушеской идиллии остались безобразные ржавые следы.

– В следующий раз обязательно загляну в ваш карман.

– Что ж... может, случай и представится.

И Дюлитц остался один. Он никогда в жизни так не осознавал свою немощь. Ему уже не нужно защищаться, напряжение отпустило, и страх взял верх. Он с удивлением заметил, как все более крупной дрожью дрожат руки. Ничего нет хуже – на старости лет заводить новых врагов.

Никакого кинжала у него в кармане не было. В последний раз. Теперь он не расстанется с ним до могилы. Тяжелая ноша, хотя дамасский стилет почти ничего не весит.

Спустился в подвал, развел огонь в горне и начал плавить стекло.

– А над головами-то нашими, мальчик, высоко-высоко, отсюда не видно, – весы. Нынче одна чаша вниз поползет, завтра – другая. Но скоро, скоро все переменится и сложится, и тогда уравниются они, весы-то, успокоятся, запомни мои слова.

Тут нам и конец придет, мысленно закончил за нее Винге. Вряд ли он правильно истолковал загадочно-философские фразы старухи. Северный выговор, странные, чужие выражения. Возраст угадать трудно – стара, как само время. Может, сто лет, а может, все двести. Крошечная, сгорбленная, ни единого зуба, глубокие морщины с навечно въевшейся печной сажей. Глаза посажены очень глубоко, об их наличии можно судить разве что по заблудившемуся лучу света, которому повезло проникнуть под набрякшие веки.

Понять невозможно: то ли впала в детство, то ли предпочитает отвечать на его вопросы загадками.

– Пересядь-ка, сынок.

За стеной хижины сначала тихо, потом все громче слышался молитвенный шепот дождя. Впрочем, дом ее и хижинкой-то назвать трудно. Конура. Покосившиеся стены вот-вот свалятся на очаг, потолок протекает как раз над ним. Она подбрасывает в печь кривые сучья. Не сразу, по одному. И говорит не переставая, но не с ним. С огнем.

Сакнес расположен очень живописно, даже красиво, дома словно плывут к небольшой площади на волнах невысоких холмов в междуречье. Церковь совсем рядом. Но и здесь его ждет неудача. На вопросы никто не отвечает. Не то что не хотят – попросту не знают, что ответить. Он, заикаясь и подбирая слова, пытается объяснить свое дело, но настороженность обитателей села преодолеть не удастся. Любопытство южан никогда и ни к чему хорошему не приводит, этому их научили с детства. Весь интерес южан ограничен простым вопросом: а не слишком ли тут хорошо живут? Нельзя ли обложить еще каким-нибудь налогом?

Пастор в уезде, неприветливо сообщила служанка. Эмиль не стал спрашивать, нет ли свободной комнаты, – постеснялся. Если он вызывает у людей неприязнь, дело в нем самом. Возможно, другого гостя она встретила бы более радушно.

Остается постоянный двор, вряд ли соответствующий своему названию: выстуженная хижина с грубой деревянной лавкой вместо постели. Правда, есть возможность купить молоко и копченую свинину на соседнем хуторе. По дороге туда он и заметил старушку – та, поминутно оглядываясь, как хульдра, украдкой пробиралась к своей лесной лачуге.

Внезапно осенило: до этого он ни разу не видел старых людей в этом краю. Остальные гораздо моложе.

Она осторожно взяла в руки воробья, сняла петлю силков и начала ощипывать перья с крошечного тельца. Голая птичка совершенно неузнаваема и поразительно мала. Можно проглотить целиком. Старуха аккуратно насадила воробья на заостренный сук и начала терпеливо крутить самодельный вертел над углями, время от времени поднося лакомство чуть не к самому носу. Наконец посчитала, что результат достигнут, и протянула вертел Эмилю. Глянула остро и тут же опустила глаза; этого было достаточно, чтобы он сообразил: его испытывают. Осторожно принял угощение, оторвал игрушечное крылышко и сунул в рот. Старушка кивнула и оторвала второе крыло – на этот раз для себя.

– Ты насчет нашего села спрашивал... Я-то совсем девчонка была, когда это в первый раз случилось, меня тогда даже козы не слушались. Мать с отцом послали на летний выпас. Говорят, иди. Уже не маленькая. Не одну, понятно, с девицами постарше. И вдруг мужчина... еле идет, лихорадка – горит весь. Ну, уложили мы его – мечется, лопочет что-то в бреду. Через пару дней появилась сыпь, потом пузыри по всему телу – глядеть страшно. Один хуторянин из наших пришел, припасы нам принес... как поглядел на него – побросал все и бежать. А этому-то, чужаку, все хуже и хуже. На следующий день пришли другие, те вообще к нам не подходили, с опушки кричали. Дескать, оставайтесь, где вы есть, в село – ни ногой. И лопату оставили. Мы только потом сообразили зачем. Помер он, гость наш. Потом и Черстин свалилась, за ней – Эльза. К осени на выпасе остались только козы да я. Потом-то меня на руках носили – дескать, спасли вы деревню, девушки, честь вам и хвала. Если б не вы, не успели бы мостик разобрать на речке, а из досок построить забор на берегу – не пройти. Как это у вас в городе называется? – Она неожиданно улыбнулась. – Баррикады? Никто больше в Сакснес черную оспу не приносил. И как принесешь – на нашей реке брод не найти. Глубокая. А мы... только потом узнали: богатые хуторяне

приказали конюху засесть с ружьем. Если девки появятся, сказали, поджигай запал. Черт их, дур, знает, вдруг по мамкам соскучились. Все знали, кроме нас. Все. Никто и слова против не сказал – как же, мол, по своим дочкам из ружья?

На зубах хрустнула косточка. Эмиль поморщился, быстро прожевал и проглотил – он терпеть не мог этот терпкий вкус дичи. Ему всегда казалось, что дичь отдает тухлятиной. Постарался скрыть отвращение.

– Ты, паренек, должно быть, и не заметил. За моими морщинами мало что углядишь. – Старушка опять улыбнулась беззубым ртом, почти ласково. – А я вся рябая. Теперь-то все знают: кто один раз уцелел, опять не заболит. А когда зараза пришла опять, мы совсем готовы не были. Так и шла от хутора к хутору. Кто еще не заболел, пустился на север. А там-то кто знает – заболел, не заболел... может, и дальше понес заразу. А кто остался... что тут скажешь? У каждого родня, у кого дети, у кого родители. Воды подать больному – и то опасно. Но ухаживают, конечно... и как тут ее остановишь, напасть эту? Да... тяжело было. Но пробст-то наш – какой был человек! Один навещал больных, делал что мог. Говорил – от судьбы не убежишь, какую Господь мне отмерил, такая и будет. Следил, чтобы похоронили по-людски, с отпеванием. Что тут скажешь... от того Сакнеса, что был когда-то, считай, ничего не осталось. Дома-то, конечно, стоят, как стояли, и, дай-то Бог, еще простоят. А народ другой. Не тот народ. Пришлые люди, чужаки. Считай, одна я и помню. И пробст наш, вечная ему память, тоже заразился и помер. Язвы по всему лицу, а улыбается: слава тебе, Господи, дал мне выполнить святой долг – помогать ближнему, может, и заработала я местечко на райских лужайках... – Старушка глубоко вздохнула и перекрестилась. – Эх, паренек... жуткое это дело – оспа. Как она грянет – сразу видно, что за человек. Кто говорит – ветер ее приносит, другие кричат – ветер-то тут при чем? Со шкуры на шкуру перепрыгивает! И все виноваты – старые друзья, родные... кто под руку попадет. Воду не пьют из колодца, а к больному подойти – ни за какие деньги, хоть мать, хоть сестра. Видят уже: до рассвета не протянет, а все равно не подходят. А кто-то поскорее к колдунам, готовы дьяволу душу продать, лишь бы не помереть.

Старуха выплюнула тоненькие косточки, собрала и выложила на край печи.

– Как же, как же... помню я Тихо. Сын нашего проста. Послушный был мальчонка, что отец скажет, то и делает. Видно, как ему страшно, а все равно исполнит. Могилы-то у нас на погосте – думаю, половину он и выкопал. Но не отцу. Отцу другие рыли: заболел он, Тихо, в жару лежал. Долго болел, но выздоровел.

Помиловала его оспа. Даже следов не осталось. Будь мир наш получше, я бы сказала: заработал. В бреду был паренек, даже не знал, что отца похоронили. Плакал и плакал, не утешись. Но с тех пор, как кто умирает, – Тихо тут как тут. Стоит и смотрит. Утешает вроде... бормочет что-то, уж не знаю что. А может, и не бормочет, так, губами шевелит – кто ж его знает. А что с ним дальше было – ума не приложу.

Получил наследство и исчез. Что могу сказать? Жизнь получил в подарок, не шутка. Хорошо бы распорядился ею по-божьи.

12

Теплый, почти уже летний рассвет. Кто-то приходил. Не кто-то – Винге. Накорябал куском угля на двери: Корабельная набережная, 12. Нынешнее число и подпись: В.

Вернулся, значит. И место встречи не случайно выбрано. Одно из немногих мест, где Эмиль чувствует себя спокойно. Уже год, как перестал вести беседы с мертвой сестрой, но пространство, широкое, ничем не закрытое небо привлекают его по-прежнему. И толпы прохожих, среди которых можно затеряться и почувствовать себя невидимым – именно потому, что каждый из них случаен, по пути из одного неизвестного ему места в другое. Станный все же человек – брат Сесила.

Но сейчас еще рано. Кардель снял куртку и рубаху, налил воды в таз. Сполоснул лицо, промокнул рубахой. Отмыл от крови протез. Он уже давно не закрывал окно, спал с открытым. Даже легкий бриз приносит облегчение. Его тянет к лежанке, как муху – к коровьей лепешке, но сейчас спать нельзя – пропустишь встречу.

Преодолел желание лечь. Но что стоя, что лежа, что во сне, что наяву, – мысли постоянно крутятся вокруг нее. Дело еще хуже, чем он думал. Оказывается, он не один ее ищет. Гонка, в которой их возможности несопоставимы с его собственными. И если они найдут первыми – что с ней будет?

Сон щиплет глаза, соблазн велик: только во сне ему удастся ее найти – и то как видение. Болотный огонек. Найти и тут же проснуться с разочарованием и облегчением. А если ляжет, тревога будет подбрасывать его на лежанке, как пружина. Он представил себе глухие углы Города между мостами, где тело может лежать годами. Нет, прочь из дома. Все лучше, чем полные соблазнов сны и сердечные судороги при пробуждении.

Кардель пришел раньше назначенного часа, но Винге уже его ждал. Ждал, но не заметил: стоял с закрытыми глазами и покачивался, погруженный в неведомые Карделю размышления.

Кардель тронул его за рукав.

Винге вздрогнул.

– О... Жан Мишель... я ждал вас не раньше, чем через четверть часа.

Кардель пожал плечами. Бриз с моря затих, выждал несколько секунд и переменял направление. Кардель принялся.

– Чем это от вас пахнет, Эмиль?

– Как это – чем?

– Другой запах. Не ваш... – Кардель подумал немного и начал перечислять: – Хвоя, смола, горшечная глина... такой в городе нет.

– Позвольте принять ваши ольфакторические[9 - Обонятельные.] наблюдения за комплимент. Дорога и в самом деле была неблизкой. Скоро выветрится.

– Оль... фак... как вы сказали? Впрочем, неважно. Долгонько вас не было. Уже июль.

– Позвольте мне не давать оценку эффективности конному сообщению, иначе мы просидим здесь до следующего июля. Что нового в Стокгольме?

– В Стокгольме? Ничего особенного. А вот Копенгаген... да вы наверняка слышали. Копенгаген сгорел. Пожар начался в гавани, и уже через двое суток... Тысяча домов, от королевского дворца остались одни головешки, в руинах поселились бродяги. А что у нас в Бергслегене?

– Сведения кое-какие есть, но достаточно двусмысленные. Хотя Сетона там нет.

– Что и следовало ожидать.

– Но, как сказано, кое-что. Я говорил с людьми, знавшими его ребенком.

– Ну да... мальчуган с розовыми щечками, охотно помогающий старикам и инвалидам вроде меня.

– Говорят, хочешь понять другого, пойми самого себя. У меня было много времени на перегонах. Чтобы поразмышлять, насколько мое собственное детство повлияло на то, кем я стал. И кем бы я мог стать, если бы все шло по-другому. А у вас не так, Жан Мишель?

Кардель обдумал ответ.

– Злобным уродом я стал не по причине несчастного детства. Собственная заслуга.

Винге жестом пригласил Карделя присесть на бревно, а сам пошел к группке матросов. Те уселись покурить на трапе. Шаткие сходни заметно покачивало волной, но они словно и не замечали. Великое дело – привычка.

Матросы по-шведски не понимали, перебрасывались словечками на неизвестном Винге языке. Тем не менее предмет разговора оказалось нетрудно объяснить жестами. В обмен на щепотку табаку они милостиво разрешили Винге зажечь щепку от огнива.

Он благодарно кивнул и вернулся. В последнее время Кардель все чаще видел Винге с трубкой. Раньше Эмиль не курил. Зато теперь не пьет – от перестановки слагаемых сумма пороков не меняется.

Осторожно держа между большим и указательным пальцами белую глиняную трубку, Винге присел на край бревна, но тут же встал.

Ветер продолжал свою игру: теперь он донес с Корабельного острова едкий запах кипящей смолы.

Эмиль явно чем-то взволнован: то встает, то садится, явно не находит себе места.

Уж не ошарашен ли он чересчур ранним появлением напарника?

В конце концов глубоко затянулся и устроился на бревне, провожая взглядом медленно исчезающие в нагретом воздухе призрачные восьмерки табачного дыма.

– У меня к вам вопрос, Жан Мишель. Мы почти никогда не возвращались к тому жуткому вечеру в анатомическом театре, помните? Сетон весьма охотно хвастался своими подвигами, но тогда у нас был единственный случай воочию убедиться в преступности его природы. Собственно, не у нас, а у вас. Я хоть и заталкивал вас под лавку амфитеатра, но без большого успеха. Вы видели, что там происходит. Что?

– Что – что?

– Что вы видели?

– Да все я видел. – Кардель сплюнул. – И самого Сетона, и эту несчастную на столе.

– Вот-вот. Сетон. Как он выглядел?

– Как он мог выглядеть? Как всегда. Шрам на полрожи, выражен, как павлин. Кружевное жабо и все такое.

– Я не о нарядах. Лицо. Выражение лица. Как по-вашему, он наслаждался зрелищем?

Кардель задумался и покачал головой:

– Больше изображал. Для студента. Мне-то показалось, напуган он до полусмерти. Так-то, конечно, трудно сказать, улыбается он или что. Из-за шрама не разберешь. Но что страшно ему было – точно. И вот что я вам скажу: я, когда с ним торговался насчет детей, сказал то же самое – дескать, видел, как ты от страха чуть не обоссался. И у него вид был такой, я бы сказал, виноватый... вот представьте: мальчонка ворует пряники из буфета, а тут его – цап за ухо.

Винге взялся набивать в трубку табак, хотя там оставалось еще больше половины. После каждой щепотки придавливал пальцем и делал несколько затяжек, чтобы не погас жар.

– В свете того, что вы сказали, Жан Мишель... что вы думаете про истории, которые он нам рассказывал?

– Припугнуть хотел. Даже не сомневаюсь.

– А возможно, даже преувеличил свою роль... хвастался, если можно так сказать.

– А что? И так может быть, почему нет.

Эмиль задумчиво запрокинул голову и на мгновение скрылся в густом облаке дыма. Кардель резко встал. Он не выспался, к тому же ему надоел загадочный тон Винге.

Винге встряхнул головой, будто очнулся.

– Простите, Жан Мишель. Но... у вас появились новые синяки? Или я ошибаюсь? Как идут ваши поиски?

– Кое-какие успехи намечаются.

– Вам надо отдохнуть. А завтра – хотите пойти со мной в Хаммарбю? Там и поговорим.

– На висельный холм? Да еще в субботу? Это еще за каким дьяволом? Я этого добра насмотрелся на всю жизнь, даже, думаю, и после смерти хватит. У меня и другие дела найдутся.

– А может быть... все-таки? У меня есть кое-какие мысли. К тому же вы будете смотреть не на казнь, а совсем в другую сторону. Может быть, счастье окажется на нашей стороне.

Кардель почесал зудящий шрам, посмотрел на солнце и сощурился.

– Может, и окажется, – сказал он, стараясь придать голосу как можно больше сарказма. – На чьей же еще? Не на стороне же бедняги на эшафоте. Думаете, Сетон туда явится? С чего бы это скрывающемуся беглецу идти на такой спектакль?

– Я кое-что слышал в Бергслагене. Почти убежден: если Сетон в Стокгольме, он будет там. Натура, знаете... у него и выбора нет.

13

Кардель, не успев войти в комнату, сел на стул, откинулся и провалился в сон.

И вот он опять мальчишка. Лет, наверное, тринадцати, но уже работает наравне с отцом – высоким, крепким мужиком, с ладонями как донца от бочек, постоянно раздраженным нехваткой денег. Их надел – крайний, дальше лес; никто не знает, где он кончается. Может, кто-то и знает, но тот, кто узнал, назад ни разу не возвращался. Хутор, если его можно так назвать, – деревянный сруб, проконопаченный мхом, с утрамбованным земляным полом, усыпанным для тепла еловым лапником. А надел на склоне холма – одни слезы. Сплошные камни. День за днем проходят в вечной борьбе: выкорчевывать камни и неизвестно откуда появляющиеся корни. Кардель еще в детстве понял: камни – тоже живые существа. Существа, противоположные человеку по самой сути. Их жизнь протекает в обратном направлении: из недр земли к ее поверхности. Рождаются где-то в глубине, можно сказать, в могиле, терпеливо поднимаются к свету и, достигнув цели, замирают. Копнешь – и появляется младенчески лысый

череп здорового валуна, в прошлом году его точно не было. Иначе как объяснить, что на их земле урожай камней всегда больше, чем ржи? Была бы хоть какая-нибудь руда в этих камнях, семья бы разбогатела. И ладно бы, мелкие – чуть не каждую весну, не успеет прогреться и оттаять земля, обнаруживается новый камень с бочку величиной. Пока не выкорчует его ломом и лопатой, ничего не посеешь. Какие еще чувства может вызвать такая работа, кроме тоски и разочарования?

Юный Кардель ждет не дожидается желанного дня, когда он сможет ответить на отцовские побои чем-то более существенным, чем слезы и сопля. Оттого и помогает так охотно в самой тяжелой работе, постоянно сравнивает свою силу с отцовской – и понимает, что разница с каждым годом становится все меньше.

А в хижине хлопочет мать. Он не знает точно, сколько ей лет, но ей бы больше к лицу были внуки, настолько состарилась она от побоев и выкидышей. В церковь ходит, прихрамывая и закрыв лицо платком, стесняется синяков.

И настал день, когда он ответил. День, ничем не отличающийся от сотен и тысяч других таких же дней. Уже смеркалось, работа шла к концу. Уставший Микель поскользнулся, уронил лопату – и тут же получил свирепый подзатыльник. Он молча поднял лопату и, вместо того чтобы покорно продолжать работу, зашвырнул ее далеко за борозду, чуть не на опушку. Его и раньше били, сильно и часто – отец воспринимал каждую неудачу или неловкость сына как личное оскорбление, как очередную щепотку соли на незаживающую рану под названием человеческая жизнь. Микель с трудом читает катехизис, жалуется: дескать, буквы пляшут, Микель медлителен и неловок, Микель слаб – и умом и телом. А тут выпрямился во весь рост, выпятил грудь и заорал как укушенный:

– Ты меня больше не тронешь. Ни меня, ни мать.

Эти слова он готовил давно, прикидывал так и эдак, чтобы вышло покороче и поубедительней.

Они выбрались из вспаханной глины на сухое место, и Микель увидел в глазах отца нечто, чего раньше не замечал. Тревога, внезапное осознание: долг с каждым годом рос и рос, набегали проценты, и теперь кредитор требует оплаты. И боль от бесчисленных ударов судьбы, и стыд. И как муж и как отец – он

потерпел унижительное поражение. Но ярость сильнее стыда; стыд, если приходит, приходит позже...

...Микель отполз к опушке; только там сумел встать на ноги, держась за ствол. С трудом навел глаза на резкость и посмотрел на отца: тот устоял, но согнулся чуть не пополам. Заметил, что сын на него смотрит, выпрямился и постарался придать окровавленной физиономии презрительное выражение.

Микель плюнул и охнул от боли в сломанном ребре. Помочился – моча красная от крови.

- Еще не вечер. Я вернусь.

В тот день, когда ему удалось исполнить это обещание, на нем уже была форма Королевского флота. Взрослый мужчина, приехал на коляске. Мать уже умерла, отец остался один – маленький жилистый старик, узкоплечий, сгорбленный. Надел съежился; чем меньше ртов, тем меньше надо земли. Лес подступал с каждым годом все ближе: долгая, терпеливая, но обреченная на успех осада. Убить отца сейчас – акт милости и прощения.

Их взгляды встретились. Кардель, помедлив несколько мгновений, круто, по-флотски, развернулся и вышел. Ему показалось, отец всхлипнул – возможно, всего лишь показалось. На стыд за малодушный побег из дома наложился еще один: он не имел права не приезжать так долго.

14

- Что ж... погода, как видите, приняла сторону экзекуторов.

День и в самом деле жаркий, ни единого облачка, солнце сияет в гордом одиночестве, постепенно подкрадываясь к зениту. Кардель оглядел толпу – именно такое сборище он и ожидал увидеть. Поперечный срез населения. Впрочем, не совсем поперечный. Заметен перекосящий в сторону бедноты и недавно прибывших, еще не успевших вкусить все прелести городской жизни.

Приговоренных высшего сословия казнят на площади, чтобы не оставлять пятен крови на дорогих одеждах знатных зрителей. Здесь-то такие пятна почитаются за особую удачу, но в Хаммарбю отсечение головы происходит редко. Здесь правит бал виселица.

У Карделя нет никакого желания глядеть на процедуру. Видел много раз, вряд ли его чем удивишь. Они нашли место немного в стороне.

– Он наверняка делает все, чтобы оставаться инкогнито. – Винге вынул из рта погасшую белую трубку и наугад ткнул в сторону толпы. – Изменил внешность... что-нибудь в это роде.

– И как мы его тогда найдем?

– Не думаю, чтобы он ожидал нас увидеть. Я и не рассчитываю, что мы его опознаем. Я рассчитываю, что он опознает нас и выкажет страх. Или удивление. Или, по крайней мере, беспокойство. Естественная реакция – сразу отвернуться, спрятать лицо и ретироваться. Вот среди таких и надо искать.

Они замолчали, вглядываясь в толпу. Пастор у виселицы читает молитву. Скоро все закончится, и тогда у них нет ни единого шанса. Публика начнет расходиться, и пойдешь найди среди расходящихся пытающегося скрыться...

– Жан Мишель... ваш протез. Не могли бы вы его снять и, к примеру, повесить на плечо. Мы должны сделать все, чтобы бросаться в глаза.

– Ну, знаете... – Кардель опешил, но выполнил просьбу. Осторожно развязал ремни, чтобы не тревожить культу, которую сам же и разбередил ночью.

Последний задушенный вопль повешенного, перешедший в угасающее глассандо предсмертного хрипа.

Винге встал на цыпочки и вертел головой, как заводная кукла.

– Ну что? По-прежнему никого? – спросил он лишенным надежды голосом.

Кардель промолчал. Его внимание привлек некто в плаще и широкополой шляпе с опущенными полями, с бородой. Встретился он с ним взглядом или нет – точно не скажешь, но неизвестный внезапно развернулся и смешался с толпой.

– Вон там... смотрите. У самой виселицы. Видите?

– Сетон?

– Может быть. А может, и нет.

– Тогда быстро. Лучше потревожить постороннего, чем упустить такой шанс.

Они пустились бежать, Кардель впереди. Он рассекал толпу зевак, как нос корабля рассекает набегающие волны. Хотя этой весной он только и делал, что бродил по городу, марш-бросок – нечто совсем иное. Мышцы протестуют, дает о себе знать спина, ломит бедра. Толпа все реже. Скоро он оказался на возвышении, где ничто не заслоняло обзора.

И он его увидел. Бородач быстро, почти бегом спускался по склону. Кардель бросился вдогонку. Вниз бежать еще хуже – каждый шаг, словно ломом по коленям, от пыли слезятся глаза. Сетон, если это он, бежит так, будто сверху летит каменная глыба, и ему во что бы то ни стало надо успеть покинуть смертельно опасную зону. Расстояние между ними пока еще велико, но сокращается с каждым шагом, и гримаса боли на лице Карделя все сильнее напоминает волчью ухмылку: добыча не уйдет. Вон таможня с поднятым по случаю праздника повешения шлагбаумом, а дальше и спрятаться негде: пустырь с редкими, отдельно стоящими хижинами. Свистящий привкус крови во рту, в селезенку будто пику воткнули – плевать. Главное другое: победа близка. Очень близка.

А может, и еще ближе: Сетон остановился у шлагбаума и о чем-то заговорил с одним из прикомандированных по случаю необычного скопления народа полицейских. Показал в сторону преследователя. Кардель оглянулся через плечо: отсюда фигура Винге на висельном холме кажется совсем крошечной. Черт, ему надо бы быть под рукой с его полицейским мандатом. Выругался, побежал дальше и через мгновение оказался в окружении полицейских. Руки в перчатках подняты в предупреждающе-угрожающем жесте.

Кардель попытался что-то объяснить, но запаленное дыхание не дало такой возможности; из гортани вырвался только свирепый, больше похожий на рычание хрип.

Плюнул и сделал попытку возобновить погоню, но куда там!.. Самое малое полдюжины полицейских набросились, скрутили и заставили встать на колени. Унижение придало ему силы, и на какое-то время все, в том числе и он, катались по земле, сцепившись в клубок, где невозможно различить, кто есть кто. Наконец подбежал Винге, тоже задохнувшийся. Не сразу удалось ему вылить масло на водоворот тел, успокоить дерущихся и объяснить, кто есть кто и на чьей стороне право. Полицейские неохотно поднялись и стали приводить в порядок свои мундиры, бросая на Карделя ненавидящие взгляды.

Сетон исчез.

- Это был он?

- Кто ж еще? Бритва у него давно заржавела, бородища как у русского купца, но шляпу свою он потерял, и я... о черт, чтоб его...

Эмиль открыл рот, хотел что-то сказать, но промолчал: понял, что не время.

- Черт, черт... чтоб ему дьявол яйца поотрывал!

Винге кротко кивнул, соглашаясь, - да. Хорошо бы.

Кардель счистил грязь с панталон.

- Все. Ни на что не гожусь.

Они медленно двинулись в город. Винге нервно теребил часовую цепочку.

- Конечно, он, - неожиданно настоял Кардель. - Иначе с чего бы ему так драпать?

- Сетон не один в этом городе, у кого есть причины убегать, если почует, что его преследуют. У каждого второго неоплаченные долги, и кредиторы наступают на

пятки. А среди кредиторов если и попадаются добродушные, то редко. Так что лучше удрать, чем пытаться выяснять, есть причина для бегства или нет.

- Нет-нет... я видел шрам. То есть... почти уверен, что видел.

- Наши неудачи продолжают в геометрической прогрессии, - внезапно сообщил Винге, не заботясь, понял его Кардель или нет. - Мало того что Сетон ускользнул, он теперь еще и знает, что мы его ищем. Все очень плохо, и я боюсь, что будет еще хуже. Нам остается только ждать. Боюсь, скоро мы увидим еще один труп с его фирменной печатью.

- Что? Что нам остается ждать?

- На висельный холм он теперь и носа не сунет. Так что будет искать свои любимые развлечения где-то еще... очень и очень плохо, - повторил Винге. - Мы словно сами приглашаем его разыгрывать спектакли.

Они шли по Почтовому холму. Винге пнул ногой камень, и тот, подпрыгивая, покатился по склону.

- О черт... заberi его преисподняя к такой-то матери...

Кардель посмотрел на него с удивлением, потянулся рукой к поясу проверить, не потерялся ли в драке кисет с табаком, и довольно кивнул.

- Вот это да... вы учитесь, Эмиль.

15

Воскресный день. Петтер Петтерссон ненавидит воскресенья всей душой. Колокола по всему городу призывают на воскресную службу, даже ядовитописклявый колокол в капелле Прядельного дома и тот старается изо всех сил. Еще одна издевка, символ общенационального ханжества, предназначенный только для того, чтобы пробудить в нем муки совести. Ты хуже других, Петтер. Ты намного хуже других. Твое место в аду, а памятью о тебе будет презрение.

Ты даже не можешь следовать образу, который сам себе выдумал.

Вот это самое худшее. Молния истины в тщательно оберегаемой и недоступной прочим тьме сознания.

Тяжело сел в постели. Ему показалось, что мозги сделались жидкими и перемещаются в черепе, стараются занять параллельное земной поверхности горизонтальное положение. Так вела бы себя на их месте любая другая жидкость.

Встал и пошел к раковине. Налил воды, опустил лицо в воду и ждал до последнего, когда уже невыносимо загорелись легкие. Потом, набирая воду в горсть, плеснул на шею и живот. Член, как всегда, эрегирован, больно прикоснуться, но он по опыту знает: самоудовлетворение невозможно. Еще один повод для стыда. Только по ночам получает он облегчение, в лихорадочных снах. Просыпается с бьющимся сердцем и с липкими ляжками – как ребенок, еще не научившийся пользоваться ночным горшком.

Почему же так получилось? Сколько ни перемалывает в голове обстоятельства, вывод всегда один: во всем ее вина, этой девки Кнапп.

Дала слово и не сдержала. Врала прямо в лицо. И бросила, как глупого жениха, попавшегося на очередное женское коварство. Сто кругов, сказала. Небось даже и в мыслях такого не держала. Поймала в ловушку.

Это отвратительный обман не давал Петтерссону покоя. Мрачный, с темными кругами под глазами, ходил он по двору и срывал зло на ни в чем не повинных, голодных пряхах. Не раз зажмуривался – стряхнуть наваждение. Часто казалось: вот же она, девица Кнапп. И возвращался в свою комнату, но и там не находил покоя. Рваный, тревожный сон, полный дразнящими мечтами, как могло бы все сложиться...

Пытался найти замену. Упаси бог, если кому-то из заключенных не повезет и она хоть чем-то напомнит обманщицу. Льняные волосы, тщательно скрываемаемая смелость взгляда. Такую ждет мрачная экзекуция в первый же день, но облегчения она не приносит. Почти все начинают хныкать, стоит огреть плеткой, и через пять минут с ними уже нечего делать, ни на что не годятся. И пока их

тащат в больничный флигель, он плетется в спальню – даже дыхание не участилось.

Знает прекрасно – пора взять себя в руки. Слишком много он себе позволяет. Скрывать свои страсти всегда трудно, но скрывать так, чтобы не возникало подозрений, – вряд ли вообще возможно. То, что открылось один раз, никогда больше не станет тайной.

И конъюнктура изменилась. Он посвятил Ройтерхольму длинное затейливое ругательство, а заодно и всем господам, щелкающим на счетах королевской бухгалтерии. Обращались бы поумнее с налогами, его положение стало бы попрочнее. А теперь взялись все пересчитывать. Все подряд, в том числе и квоты на Прядельный дом. Журналы проверяют от корки до корки, спряденную шерсть надумали мерить не в мотках, а в локтях. Даже инспектор Крук, сменивший певуна Бьоркмана, тот самый, который раньше почти не появлялся на службе, предпочитая светские развлечения, ни с того ни с сего начал вникать в дела Дома. Делался красным как вареный рак и начинал орать на него и других охранников на своем шведско-финском, то и дело взрывающемся отборной руганью, диалекте: «Мало прядете, надо повышать квоты». Никто словом не обмолвился, хотя причину знали все – охранники боялись Петтерссона, как огня. Среди них, конечно, особых умников не найти, но даже полному идиоту ясно: какие там квоты, если Петтерссон каждый выходной избивает до полусмерти работницу. Причем выбирает помоложе, от которых самый прок. Больничный флигель забит этими девчонками, трещит по швам. Многие мрут; при таком питании раны заживают плохо и долго, если вообще заживают.

Он пытался предаться другим порокам, чтобы избавиться от даже ему самому казавшейся опасной непобедимой страсти. Напивался до одурения в своей спальне, набивал рот табаком так, что сердце пускалось в галоп и темнело в глазах, – ничто не помогало. Наоборот. Перегонное растворяло даже те тормоза, что имелись. И если какая-нибудь девка нечаянно согнула вилку или валяется в постели в ознобе – тут уж он ничего не может с собой поделывать. Мастер Эрик сам ищет его руку – и начинаются танцы. Он считает круги, как всегда. Он всегда считает круги. Но сто... Сто кругов! Она обещала сто кругов – и обманула!

Колокола так и трезвонят, черт бы их побрал.

Но сегодня воскресенье, он трезв – надо держать себя в руках.

Подошел к зеркалу и принял решение, которое пережевывал уже больше недели, а может, и больше. Надо остановиться. Хотя бы на несколько недель. Приглядеть, чтобы выполнялись квоты. Трясаясь от страха, много не напрыдешь. Хотя бы до осени. Время покажет.

Почистил мундир, потер мылом, постарался вывести, насколько мог, темные пятна. Все. Танцы только по воскресным вечерам, как и требует народный обычай.

С вновь обретенной уверенностью Петтерссон начал методично направлять нож на подвешенном на двери ремне – физиономия должна быть чистой и розовой.

Побрился, провел по щеке рукой и довольно кивнул сам себе.

Стук в дверь.

– Петтерссон... к тебе посетитель.

Голос Хюбинетта.

Интересно, кого это черт принес? Неужели опять Крук в своих башмаках для танцев с розеточками? Вытер насухо нож для бритья и положил на стол.

– Кто?

– Кардель. Ты его знаешь. Бродяга. Видок у него... гляди, чтобы не слевать.

Хюбинетт не особенно склонен к метафорам, но на этот раз он несколько не преувеличил. У Петтерссона даже глаза начали слезиться от отвращения. Кардель ждал его за воротами. Ни шагу не сделал, пришлось выйти ему навстречу.

– Ага... Кардель! Двадцать четвертый номер! Уж не забыл ли кто утюг у тебя на роже?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Дракон в скандинавской мифологии. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Nej d? (шв.) – прощайте.

3

Квартал публичных домов.

4

Старинная мера веса: в разных странах от 6 до 8 килограммов.

5

Пороховой заряд.

6

Пролив между Балтийским морем и озером Меларен, из-за перепада высот перегороженный шлюзом.

7

Шведская миля – 10 километров.

8

Сказочное, очень скрытное существо, женщина с коровьим хвостом; персонаж скандинавского фольклора.

9

Обонятельные.

Купить: https://telnovel.com/ru/natt-o-dag_niklas/1795

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)